

Катерина ШПИЛЛЕР

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+



Маленький памятник Эпохе прозы

Катерина Шпиллер

Маленький памятник эпохе прозы

«Автор»

2020

Шпиллер К.

Маленький памятник эпохе прозы / К. Шпиллер — «Автор»,
2020

Видит бог, никогда не могла себе представить, что случится ситуация, в которой у меня образуется много свободного времени для писанины. Но гляди-ка! Пандемия, карантин, наш дом опустел, мы остались вдвоём, работы мало. Бродим по дому, как зомби, и аукаемся друг с другом, смеясь. Жизнь будто поставили на паузу, и в этой паузе оказалось возможным, даже необходимым, как говорила мачеха в фильме «Золушка», познать самое себя. Отвалились многие и мелкие, и крупные заботы, пауза затянулась, мозг отчаянно требует её чем-то заполнить, он не привык к простоям. Содержит нецензурную брань.

© Шпиллер К., 2020

© Автор, 2020

Посвящается М.Б.

*Талант всегда остаётся талантом,
это неизменно. Просто пиши, как дышишь.*

Наконец, как в том анекдоте, нашлось время и место писать. Прозу. Прежде всегда находилась железная причина «нет времени», сама мысль, что следует хотя бы попытаться начать, легко отгонялась стадом других сиюминутных проблем, требующих решения прямо сейчас.

Мой Астероид (мой маленький отдельный мир – по Экзюпери), где я живу, выбран тщательно и пристрастно пятнадцать лет тому как. В полной мере сбылась мечта, хотя Астероид требует много внимания и заботы о себе, что мне только в радость. Но не до писанины, труба, которая зовёт, никогда не умолкает.

Рядом со мной всегда есть верный друг и помощница, но ей много лет, она нездорова, я хочу, чтобы она отдыхала и берегла себя – дорогой мне человек! Я люблю её, дорожу ею и не представляю, если однажды... не в силах до конца додумывать эту мысль.

Она постоянно рвётся быть полезной, переживает из-за часто нападающей на неё немощи, смотрит виноватыми глазами больного животного. Не получается у меня её утешить, а когда слишком жму на неё, сержусь и выговариваю ей, то у неё делается взгляд, который терзает мне сердце.

Наш дом на Астероиде большой, в нём два этажа и много комнат. Плюс внушительных размеров участок земли. Живём в предгорье, на отшибе небольшой зажиточной деревеньки. Потом расскажу об этом подробнее.

Видит бог, никогда не могла себе представить, что случится ситуация, в которой у меня образуется много свободного времени для писанины. Но гляди-ка! Пандемия, карантин, наш дом опустел, мы остались вдвоём, работы мало. Бродим до дому, как зомби и аукаемся друг с другом, смеясь. Жизнь будто поставили на паузу, и в этой паузе оказалось возможным, даже необходимым, как говорила мачеха в фильме «Золушка», познать самоё себя. Отвалились многие и мелкие, и крупные заботы, пауза затянулась, мозг отчаянно требует её чем-то заполнить, он не привык к простоям.

По дому шныряют ошалевшие от пустоты и тишины коты, но им-то радостно, ибо теперь можно вольно заходить во все комнаты – наконец-то для них нет закрытых дверей. Может, зря мы им это разрешаем, ведь когда-то всё закончится (ведь закончится?), а они уже обнаглеют, привыкнут. Да ладно, разберёмся. Наши кошки умные, мы им потом всё объясним.

Много времени нынче мы проводим за чаепитием, часто выходим гулять, хотя март совсем не радовал хорошей и тёплой погодой, да и апрель пришёл неустойчивый, капризный, будто не уверенный в себе.

Зато воздух! В нашем предгорье он и прежде нешуточно кружил голову, пока не привыкнешь, а уж теперь... Видимо, правду пишут, что как только человечество замерло и перестало активно коптить небо, природа будто глубоко вздохнула, и её дыхание, не испорченное гарью, выбросами и производствами, оказалось всё ещё чистым и свежим. Природа жива!

И воздух, который к нам скатывался с гор, как по воздушному путепроводу, стал ещё слаще, вкуснее, его в самом деле хочется пить и упаковывать в тару, чтобы на всякий случай сохранить.

Теперь намного громче и яростнее поют птицы – ох, как же они чирикают, заглушая даже деревенских петухов, живущих у некоторых сельских жителей. Птички-невелички разошлись не на шутку.

Не знаю, чем закончится история с пандемией и карантином, может, большим апокалипсисом, но, честно говоря, пока всё не так уж страшно, только если немного скучно. Иногда сильно накатывает, чего греха таить. Хочется, чтобы побыстрее «включили жизнь» и вернули

нам все былые любимые радости. Но не стану гневить небеса – я всё равно счастлива. Мы счастливы.

Есть у меня один добрый знакомый начинающий писатель, молодой, талантливый, но пока не признанный, убеждённый, что в любой книге, в каждом фильме должен быть очень-очень глубокий смысл и важный посыл, и если вдруг он не находит последнего, то с печальным видом задаёт вопрос:

– Вот зачем режиссёр снял этот фильм? Зачем?

И настойчиво требует ответа от окружающих.

– Не понимаю, для чего писатель написал эту книгу?

– Тебе просто книга не понравилась.

– Даже не скажу, что не понравилось, но... Что он хотел до нас донести? Зачем написал все эти слова в таком количестве? – и трясёт у меня перед носом каким-нибудь томиком. Да, бумажным. Он весьма консервативен, несмотря на молодые годы.

Представляя реакцию этого моего приятеля, я пугаюсь от одной мысли что-либо писать. Ведь единственный ответ, который я смогла бы дать на его строгий вопрос, звучит так: просто потому, что хочется. Ну, и есть надежда, что кому-то будет интересно.

И в условиях пандемии и карантина я больше не нахожу никаких оправданий, чтобы не писать. Прозу. Речь именно о ней. Пора, брат, пора – мозг нужно тренировать и не только кроссвордами. Вот тебе компьютер, вот программа «Ворд», садись и пиши. Надо, Федя. Надо!

Речь о прошлом, моём личном прошлом, которое и есть главный герой. С самого детства, подробно, с важными мелочами и деталями. Та, с которой я живу, слушая мои устные автобиографические рассказы, всякий раз удивляется: как ты помнишь события такой огромной давности, всё, вплоть до пустяков, если не вела дневников, не записывала по дням, что происходит, и кто что сказал? Нереально же! Я теряюсь и соглашаюсь: нереально. Но так и есть. Люблю шутку «я не злопамятный, просто злой и память у меня хорошая». Так вот, я не злая, не добрая, но память у меня отличная! Чем дольше живу, тем сильнее в том убеждаюсь. Да, помню почти всё, будто вчера случилось, помню вплоть до конкретных слов и интонаций. То ли дар, то ли проклятие. О чём-то и рада бы забыть, а дудки.

И вот копилось в памяти, копилось, никуда не девалось, и накопилось до такой степени, что надобно выгрузить и сохранить в надёжном месте – держать всё внутри своей головы уже тяжело. Этим и займусь, коли судьба «подарила» очень много свободного времени.

Так закончилось детство

Может, если написать про больное, оно станет менее болезненным? Тысячи раз снова и снова переживаю мучительные моменты, смакуя подробности. Зачем? «Не думай, не думай! – строго внушаю себе. – Прекрати пересматривать то «кино». Вспомнилось – старайся отфутболить мысль, переключиться, у тебя есть столько прекрасного, о чём можно размышлять!» Верно, но далеко не всегда срабатывает.

И ведь совсем не тот случай, чтобы идти к психоаналитику, и, лёжа на кушетке, вдумчиво разговаривать с потолком, ища некие травмы в прошлом, ставшие глубоко запрятанной подоплёкой взрослых страданий.

Нет травм и никакой подоплёки. Нет и страданий. Обычная жизнь, которая иногда бьёт по морде. Но ведь это входит в её базовую комплектацию – делать больно, заставлять мучиться. Ещё никто не ухитрился прожить, не получив свою тонну боли. По сравнению с тем, какой ад на земле довелось пережить многим, я – абсолютно счастливый и благополучный человек. Но мои маленькие царапинки, ранки и мозоли тоже ноют и побаливают, иногда невыносимо. До слёз. Очень хочется их подлечить, а ещё лучше от них избавиться.

Подумалось, что рассказ себе о себе, длинный, подробный, мелким почерком в пухлой тетрадке (метафора!), для всех и ни для кого, но уж точно не для потолка, сможет заменить психоаналитика, к которому не с чем идти, а выговориться охота. Говорят, для этого есть друзья: можно и нужно выговариваться им в жилетку, которая уж точно поможет! Спорно: мало какой друг согласится потратить кучу времени на твой монолог о жизни и ещё удержится от того, чтобы не сделать попытку перевести разговор на себя неизменным «а вот у меня...». Немногие способны на подобный подвиг. Любой друг, прежде всего, обычный человек.

А уж если с некоторых пор твой сознательный выбор – жизнь рядом с людьми, но почти совсем без близких, в некоем замысловатом варианте отшельничество (очень своеобразное и нетривиальное, но всё же), то вопрос «жилеток» отпадает сам собой. Моё «почти» не тянет на жилетку. Скорее, это я – жилетка, стена, в чём-то даже опекун.

Очень близкий человек имеется, сейчас она в соседней комнате. Наверное, читает. Она знает многое, но не всё. Я оберегаю её и не хочу показывать свои слабости. Потому что обязана быть сильной.

С чего же начать?

Пожалуй, буду действовать по школьному принципу выполнения домашних заданий – прежде всего отделаться от сложного: начну с самой первой и, может, потому кажущейся такой сильной, боли. Ковырять плохо зажившую рану – так себе занятие, если только для мазохистов. Ковырну последний раз.

Ту боль можно считать отправным пунктом повествования. И случилось это тридцать лет назад.

Тридцать лет назад... Плохо укладывается в голове, что тогда я не просто существовала, но уже прожила важную часть жизни, успела пройти через прекрасное, трудное и невыносимое. Тридцать лет – так много! А мне и сейчас кажется, что прожито мало, даже возникает обида на стремительно летящие годы: почему так быстро, я не успела пожить, чтобы нажиться! Нажиться – непростое слово, обычно у него совсем иной смысл. Я имела в виду случаи, когда части слова «на» и «ться» придают глаголу не просто совершенный вид, а ещё и оттенок полного удовлетворения действием: натанцеваться, напеться, напиться... нажиться. И вовсе не в смысле обогатиться. Мне бы ещё лет пятьдесят, я ведь только начала! В душе мне всего двадцать пять. Хотя сердцу моему, возможно, все семьдесят – побаливает и требует терапии. Хорошо, что теперь есть прекрасные лекарства, я всё делаю, как велят доктора, потому «моторчик» редко меня беспокоит. Существой такие препараты прежде, может, бабушка, дедушка и мама прожили бы намного дольше.

Продолжаю жить, сердясь на время, и в ближайшем будущем умирать не собираюсь (тсс, не стоит смешить богов). Склады памяти под завязку переполнены событиями, людьми, происшествиями, эмоциями, сожалениями и прочим барахлом – бесценным и мусорным. Хочется всё разобрать, сложить стопочками и любоваться на идеальный порядок. И самой в себе, наконец, разобраться, чтобы не пугаться наступающей зрелости, став по-настоящему взрослой личностью, постигшей суть произошедших с ней событий и полностью всё принявшей.

Итак, девяностый год прошлого века, лето, август. Мы – мама, папа и я – пребываем в спокойном ожидании начала учебного года, когда я впервые пойду в институт. Все нервы трепки позади.

Мне семнадцать, я окончила десять классов с отличным аттестатом, поступила совершенно без проблем в Литературный институт на отделение критики.

Нынче, вспоминая, понимаю, что самым сильным впечатлением в те годы для меня, как, возможно, для многих сверстников, было не окончание школы и поступление в институт, а само тогдашнее время, настроение, ощущение драйва нон-стоп, постоянного прямого впрыска адреналина непосредственно в мозг сразу всем. Время пришлось на мою юность интересное,

бурное, если не сказать буйное. Возможно, чем-то похожее на революционную эпоху начала двадцатого века, но, к огромному счастью, без той страшной кровищи, а, значит, без трагедии.

Взрослые тарасились распахнутыми от шока глазами, спорили, перебивая друг друга и на повышенных тонах, эмоционально размахивали руками... Мне так запомнилось. Это всё называлось «перестройка».

Они, взрослые, всякий раз пытались здесь, сейчас, немедленно добраться до некоей сути, что-то доказать, а самые часто употребляемые слова были «правда», «неправда» и фраза «да ты меня послушай!». Юная я с весёлым любопытством наблюдала за происходящим, удивляясь тому, каким, оказывается, взбалмошным, шумным и сумасшедшим может быть мир солидных людей.

Мы не понимали, что нам, взрослым и детям, жившим в последние два десятилетия двадцатого века, повезло собственными глазами увидеть самый расцвет человеческой культуры и цивилизации во всех смыслах, пик того лучшего, к чему передовые граждане всегда стремились, стараясь донести идеи до «масс» с помощью литературы и искусства. И вот она, «звезда пленительного счастья», была совсем близко, виднелась всего в одном десятке лет до безусловной победы добра, просвещения, гуманизма и расцвета царства науки.

О, двадцать первый век, как мы тебя ждали! Чуть-чуть оставалось до торжества эпохи разума, абсолютной победы веками вожделенной свободы. Иногда мудрецы старшего поколения говорили о том, мол, что, похоже, нам посчастливилось почти дожить до прекрасного будущего, описанного в утопиях. Наши дети и внуки будут жить в замечательном мире, аллилуйя!

Но о главном никто не догадывался. Никто не понял, что на самом деле подступает закат цивилизации, придумавшей себе такое прекрасное будущее. В реальности, как показала новейшая история, на пороге маячил век обскурантизма, мракобесия, ренессанса религий и, соответственно, расцвет разного рода догматизма, фанатизма и фундаментализма – диких и мрачных. Нынче мы мудры задним числом и вдумчиво переоцениваем прошлое, пытаюсь понять, что происходит, в каком месте и почему следующий к нужной станции поезд вдруг сошёл с рельсов и помчался напрямиком по бездорожью в вязкое болото. Похоже, теперь уже допёрло до самых упорных, что едем не туда, но для прозрения пришлось «отмотать» пятую часть нового века. Теперь мы умные, а тогда... Тогда всё выглядело и виделось абсолютно по-другому.

Главной эмоцией юной девушки в те перестроечные годы была такая: как жить-то интересно, как здорово, а сколько ещё всего будет!

Неистовое время, как всякая революция, очень подходило моему возрасту, юности, всегда существующей в повышенном скоростном режиме, постоянно ищущей, куда приложить мегаватты избыточной энергии: потому и танцы до упаду, неужемность и активность – нормальный сброс топлива, чтобы не взорваться. А тут нате вам, как по заказу: политика бушует – орать, беситься и размахивать руками можно на законном, легитимном основании, старшее поколение занимается ровно тем же самым. Прогнивший застой превратился в кипящее варево, повсюду с горящими глазами сбрасывали топливо возбуждёнными переменах взрослые, от происходящего будто помолодевшие, что было, с одной стороны, здорово, а с другой... Кроме политики и дефицита продуктов они не замечали больше ничего. Впрочем, лично для меня это оказалось весьма кстати, потому как отвлекло родителей от моей боли и дало возможность успешно скрывать последствия полученной душевной ссадины.

Моей ране было несколько лет от роду, она гноилась и порой адски болела, ведь лечения не было и быть не могло. И хорошо, что близким часто было не до меня.

Пока не пришло время большой политики и перемен, покуда не началась перестройка, и я, и мои родные часто играли в игру под названием «Раз-два-три – ничего не произошло!» – по Хармсу. У нас всё в порядке, ничего не случилось. Родные делали беспечный вид, боясь меня травмировать – нашли дурочку. Будто я могла не замечать... слона в своей комнате, если о нём не говорить.

С другой стороны, возможно, ими двигал страх произнести вслух печальную правду. Ведь коли её выразить словами, она, будто названный по имени и таким образом призванный Сатана, обретёт плоть и станет уже не просто мнением, с которым можно поспорить, а безусловной истиной, фактом. Поэтому предпочитали делать вид, что ничего не случилось. Всё нормально и всё ещё будет. Надо только немножко подождать и приложить некоторые усилия, например, в виде учёбы в профильном институте. Будто какой-то институт может вернуть талант... нет, гениальность – ведь я была гением. Гениальным ребёнком. Вундеркиндом. В прошлом. Всё ушло, талант исчез, будто из меня что-то вытряхнули. Вспороли и вытащили из моего тела, вернее, мозга, самую главную пружинку, на которой держалась моя суть.

Тот вечер. Заканчивается август, по-московски неприветливый, прохладный, когда небо затянуто серой беспросветной пеленой, то и дело принимается нудно стучать дождь. Природа всем своим видом готовится к отбою, будто не будет сентябрьского последнего ренессанса с щедрым солнцем и теплом. Так всегда случается.

Пока мама моет посуду на кухне, мы с папой вечераем в гостиной, читаем газеты – то было настолько интересное время, что газеты почти заменили детективы и фантастику, настолько острые и интригующие материалы в них публиковались. Иногда перебрасываемся репликами по поводу бурчащего телевизора, на котором пригрелся рыжий кот Фима, нагло спустивший на экран пушистый хвостик. Помнится, в те годы политического безумия «ящик», кажется, вообще не выключался, если кто-то был дома. На всякий случай, вдруг что! Через год «вдруг что» ещё как случится, о чём мы узнаем благодаря телевизору и Чайковскому.

Так вот, вечер августа 90-го года. Незабываемый, к сожалению. Один из самых печальных в моей жизни.

– Ты настоящий медвежонок. Плюшевый мой, хороший. Получилось... – успел сказать папа и... его не стало. Так оно и случилось – внезапно и почти моментально. На всё про всё понадобилось минуты три. Ещё пять минут назад жизнь катилась неторопливо и уютно, жизнь прежняя, спокойная, отмеряемая привычным тиканьем ходиков на стене, а в следующее мгновение всё изменилось полностью и навсегда. В самый страшный момент почему-то взгляд падает на эти ходики и кажется, что если сейчас перевести стрелки назад, всё повернётся вспять! Остановитесь, ходики!

Папа скрючился и упал на колени, не дойдя до окна, чтобы открыть форточку – ему, по-видимому, стало душно. Не открыл, не успел. Наверное, боль была невыносимой, он прижал кулаки к животу, рухнул и посмотрел на меня снизу, с пола. Я за эти две-три секунды не успела никак среагировать, застыла в ужасе, сидя в кресле с газетой. Почувствовала, как внутри всё болезненно сжалось в комок, но лишь начала догадываться, что происходит нечто ужасающее, фатальное.

Совсем не ко времени вспомнились папины наставления: «Тебе страшно, жутко, но ты «делаешь лицо», и никто не догадается, что тебе страшно. Тебя тут нет, тебя не касается, неприятность происходит не с тобой!»

– Это происходит не со мной... – прошептала я.

Врачи потом сказали, что «всё» произошло сразу, моментально. Он не слышал моего крика, не видел, как я билась и выла, прижимая к своему лицу его ладонь, целуя её и умоляя папу прийти в себя.

Моё первое горе.

Имя и фамилия

У папы из родных были только мы – мама и я. Ни родителей, ни братьев. Человек без корней. Про его маму с папой я ничего не знаю, как и он сам: когда папа начал осознавать

себя в трёхлетнем возрасте, то обнаружил, что живёт в огромном доме рядом с десятками других малышей. Что такое «мама-папа-дом-семья» понятия не имел. Как всё случилось, куда сгинули его родители – покрыто мраком. Учитывая год его рождения – 1950 – можно многое предполагать.

Папа знал всего лишь то, что его нашли подкинутым у крыльца казённого заведения. Всё. Обнаружила его уборщица «из бывших», что объясняло её не по статусу удивительно красивую фамилию. Иногда я думала о том, насколько непростая была та женщина не только в смысле происхождения, но и по своему характеру: она не сменила фамилию на что-нибудь простенькое вроде Ивановой-Сидоровой, как сделали многие, не побоялась, так и жила с «неправильной» фамилией в стране, где куда безопаснее и выгоднее быть Перденко, чем Оболенской (оба примера взяты прямо сейчас с потолка, к истории никакого отношения не имеют). И ведь женщина уцелела в мясорубке! Оказалась в результате в уборщицах, но живая и при работе. Повезло.

Так вот, именно её прекрасную фамилию, чтобы не думать-не ломать голову, младенцу и присвоили. «Хоть в чём-то сvezёт мальцу!» – возможно, рассудили те, кто выписывал метрику. К тому времени уже не так опасно было жить условным «Оболенским», как лет двадцать до этого. А, может, просто никто не хотел заморачиваться и придумывать.

Но я, пожалуй, не назову ту фамилию, пусть остаётся интрига: иначе меня тут же вспомнят и опознают, по крайней мере мои ровесники и те, кто старше.

А зовут меня Беллой – в честь прабабушки, так решила мама, и её мама была счастлива.

Но вы представляете, какой кошмар в детстве быть Беллой? Я безумно завидовала Таням, Олям, Ирам и прочим девочкам с нормальными именами.

Естественно, в любом детском коллективе, в садике или во дворе, я моментально превращалась в Белку или Стрелку, дети пытались дразниться, но не тут-то было: мне понравилось быть Белкой.

«Девочка, как тебя зовут?» – «Белка!» – «Доча, ты же Белла!» – «Нет! – и ножкой топала. – Белка!»

Так и пошло, все привыкли, Белка – это я. А Белла – в документах. Папину фамилию в конце 70-х – начале 80-х не знали лишь малокультурные, не читавшие «Литературную газету» и журнал «Наука и жизнь», а потому не ведавшие про девочку-вундеркинда. Но таких было мало: телевизор смотрели все, а меня и там показывали, хотя всего пару раз.

Моя красивая фамилия долгие годы стояла в ряду таких, как Надя Рушева, Алёша Султанов, Полина Осетинская, Ника Турбина, среди любимых игрушек взрослых интеллектуалов – детей-вундеркиндов в искусстве и литературе. Маленьких советских гениев признавали и обожали безусловно, носили на руках. Позже из Америки к нам пришёл термин «дети-индиго», и нас, вундеркиндов мэйд ин ЮЭСЭСАР, окрестили этим словом задним числом. Мол, первые ласточки, просто названия никто не знал, от нас скрывали великое открытие британских учёных. Вундеркинды – это по-старому, по-советски, а по-новому – индиго.

– Имя у девочки как у Ахмадулиной, – многозначительно перешёптывались взрослые. Да, конечно, это неспроста. А все Александры немножко Пушкины.

В начале восьмидесятых гениальных детей приветствовали, как представителей «нового мира», того самого земного Парадиза, которого человечество ждало и жаждало все последние века. И мы родились, как по заказу – кучно, почти одновременно.

Потом возникнут сомнения в гениальности некоторых детей, последуют разоблачения, прогремят гневные выступления доморощенных «следователей» и наступит отрезвление – когда справедливое, когда лживое, всего лишь ради сенсации, но это всё потом. Например, авторство Ники скоро будет поставлено под сомнение.

– Я же предупреждал! – бушевал дедуля, изо всех сил оберегавший меня от любой публичности и убеждённый, что журналисты и шумиха могут сломать жизнь его драгоценной внучке. – Я же говорил!

А что он говорил? Он ведь тогда, когда всё только начиналось, имел в виду совсем не это, прекрасно зная, что никаких сомнений в моём авторстве быть не может. Или он намекал, что на Нику наговаривают, мучают девочку, позорят, а на её месте легко могла оказаться я?

Стоит ли признаваться в том, что можно счесть бахвальством? Не знаю. Ну да ладно, какая теперь разница, чего скромничать сто лет спустя? Дело в том, что некоторые именитые поэты оценивали мои стихи много выше, чем творения Ники. Так получилось, что мы с Никой пересеклись во времени и в жанре, но, в отличие от меня, Турбина оказалась прекрасна во всём! Прекрасна внешней красотой Серебряного века – нежная, немножко не по-детски томная, трогательная, с совершенно изумительной родинкой над верхней губой, изящным штрихом довершавшей удивительный образ. И умела она читать свои (не свои?) стихи так, что взрослые плакали, не веря ни глазам, ни ушам. «Реинкарнация... реинкарнация...» – лаская слух, шуршало над толпой внимающих удивительному ребёнку модное слово, понятие, погружающее в экстатический восторг. Ника выглядела маленьким, гениальным мудрецом, реинкарнацией всех великих поэтов и поэтесс сразу. Потрясающе фото- и телегенична и вообще... ну, куда мне до неё?

Белка-игрунка – так называл меня папа. Я была рыжая-прерыжая-конопатая, маленькая, тощая, вертлявая, постоянно строящая рожицы кривляка с чуточку оттопыренными ушками. Как обезьянка-игрунка!

Игрунка сочиняла потрясающие стихи, любила их декламировать, одновременно, правда, лазая по шведской стенке, катаясь с горки, или носясь по двору и ликующе выкрикивая рифмованные строки.

Пришли корреспондент и фотограф – тётя в брюках и дядя с бородой. Я их встретила во всеоружии: заранее нашла красно-рыжий мамин платок, запихнула его сзади под резинку колготок и вышла к гостям:

– Здравствуйте! Меня зовут Белка, и вот это мой хвост! – повернулась ко всем спиной и начала бешено вертеть попой, чтобы хвост как бы шевелился. Типичный гений, особенный ребёнок, да-да.

Меня пытались уговорить, усадить на стул, чтобы я, красиво сложив ручки под подбородком, кротко ждала, «когда вылетит птичка». Но я показывала фотографу язык или специально косила глаза к носу, прикусив нижними зубами верхнюю губу.

– Да чёрт же, бя! – бесился фотограф, тётя в брюках на него шикала, нежно пытаюсь уговорить меня «не проказничать».

С видеосъёмкой дело обстояло ещё хуже: высидеть на одном месте больше сорока секунд я физически не могла. Папа специально засекал время: сорок секунд – предел. Потом игрунка вихрем срывалась с места, потому что во мне, видимо, с силой разжималась некая пружина.

– Мне кажется, она у вас психически нестабильная девочка, – как-то раз вынес раздражённый вердикт товарищ с телевидения, потерявший, по его словам, со мной кучу драгоценного времени. – Иногда гениальности сопутствует психическое отклонение...

– Сами вы! – шёпотом прорычал папа и сунул ему в руки бумажку. – Почитайте. Психически стабильный вы наш.

На листке были напечатаны на машинке лучшие мои стихи к тому времени. Мне было лет семь, кажется... Телевизионщик прочитал. Вздыхнул. Беспомощно посмотрел на меня. И ещё раз вздохнул.

– Девочка – гений. Но кина не будет.

Какие были мои стихи, про что? Не такие драматично-трагичные, как у Ники, но, как теперь вижу, странно глубокие для ребёнка. Почему ко мне приходили эти образы и идеи? Неизвестно. Приходили – и всё. Откуда-то. И становилось легко и радостно – вот это точно было. Мир вокруг делался ярким, гуашевым, звуки насыщенными, запахи густыми, пряными.

Когда мною сочинялись стихи, я ощущала мир удивительно глубоко, все пять чувств были обострены до предела, и невозможно описать, какое это счастливое, блаженное состояние.

...Стихотворение про дождь, который идёт за окном, поэтому я не могу пойти погулять. И я придумываю пригласить дождь к себе в гости, а когда он придёт, убегу из дома, потому что на улице его уже не будет. Но у меня дома начнётся дождь, поэтому нельзя вернуться.

...Или про куклу, у которой сломался один глаз – перестал моргать, застыл в открытом положении. Эта кукла не доверяла никому, боялась людей, которые делали ей больно, поэтому не хотела закрывать глаза, решила оставить один всегда открытым, чтобы наблюдать за людьми. Она совсем перестала спать, ужасно устала и умоляет дать ей хоть немного отдохнуть – но как? Нельзя закрывать глаз, люди всё время рядом.

...Про кота Фимку. Нашего рыжего пушистого красавца. С того момента, как я научилась говорить, пыталась научить тому же своего любимца. Не получалось. Стихотворение было о том, что коты не хотят с людьми разговаривать, потому что не имеют права открыть самый главный секрет, но боятся, что от любви к нам не выдержат и разболтают. Поэтому решили вообще не разговаривать даже со своими хозяевами.

Теперь все догадались, какая у меня фамилия? Эти три стихотворения из самых популярных. Их чаще всего перепечатывали в публикациях обо мне.

Кстати, про котов. Они у нас всегда жили. Первый был Фимочка, тот самый. Его откуда-то принесла мама ещё до моего рождения. А когда меня привезли из роддома, уже взрослый здоровенный котёнок, обнюхав появившееся в его доме нечто и полчасика поразмышляв (как выразилась мама), запрыгнул в мою кроватку и по-хозяйски положил лапу мне на живот, выразительно посмотрев на родителей: мол, моё.

С тех пор, как помнила себя, я знала Фимку, моего любимого рыжего дружищу. Мама шутила, что трое рыжих в семье – гарантия счастья: чем больше рыжего, тем лучше. Но Фимка слишком рано ушёл, лет в семь всего. Не знаю, по какой причине, лишь помню своё первое огромное горе. Родители очень скоро завели ещё одного рыжика. Малыш был жутко глазастый, писклявый и наглый – в отличие от вальяжного и благовоспитанного Ефима.

– Да это какой-то Лжефимка! – грустно заметил папа.

Какое-то время мы его так и звали, но он вырос в замечательное создание – мурчащее, ласковое и любимое. Поэтому стал Фимой Вторым. А ушёл ещё быстрее: неудачная кастрация, мочекаменная болезнь и всего в два годика не стало котика. Мы всей семьёй горько рыдали, даже папа не сдерживался.

Завели третьего. Рыжего, конечно! Вот он оказался долгожителем. Ефимом Третьим. Понятно, что без кошек я не мыслю своей жизни – они со мной всегда. Рыжие. Фимы. Мальчики или девочки – неважно, имя позволяет.

Мои стихи, конечно, публиковали, про меня много писали, фамилия была на слуху. Но фото из публикации в публикацию кочевало одно и то же: лишь один раз меня удалось «поймать», с любопытством глядящей куда-то в сторону, не успевшую пока превратиться в обезьянку и соорудить рожицу. Взгляд влево, чуть нахмуренные брови, приоткрытый рот – обычная среднестатистическая девчонка.

Помню особенно «оригинальное» название статьи – «Рыжее чудо». Судя по стихам – да, чудо присутствовало. А глядя на автора – не скажешь. Поэтому по телевизору меня показали пару раз и мельком. Ника Турбина смотрелась эстетично, как бы сейчас сказали – супер-брендово. А рыжие обезьяны с шилом в одном месте не могут быть реинкарнацией ничего хорошего. Я никак не вписывалась в требуемый образ.

И тем не менее, многие легко вспомнили бы мою фамилию, поэтому я её не назову. Зачем? Всё кончилось, само собой рассосалось, растворилось, улетело.

В двенадцать лет я впервые почувствовала трудность в сочинении стихов. Прежде во мне бурлил и пузырился чистый кайф, приходивший ниоткуда, щекотавший меня в животе и звон-

кой челестой звучавший в моём голосе, когда я вдруг (для окружающих – вдруг) принималась говорить в рифму о чувствах, мыслях, ощущениях. При этом плавала на волне блаженства! Взрослые охали, бросались за ручкой и бумагой, чтобы успеть записать, а я, не понимая этой суеты, будто просто пела песенку, делясь своей радостью. Щекотка случалась часто, я всегда ждала её появления, потому нон-стоп пребывала в хорошем настроении.

Активная и шустрая, обожала часами качаться на качелях, с которых меня невозможно было стащить. Изю всех сил работала ногами вперёд-назад, поднимаясь высоко-высоко, аж дыхание перехватывало, падала сверху вниз – ух, как в пропасть! На турниках болталась мартышкой, быстрее всех детей носилась по двору – эдакая Пеппи, если учесть рыжину и конопушки.

Для посторонних картинка была странной и смешной, а я привыкла, что за мной постоянно пытаются угнаться кто-то из взрослых с листком бумаги и ручкой – не упустить момент моих «творений». А всё потому, что один раз я убежала качаться, только-только начав сочинять стих, и, вернувшись с качелей, заявила, что забыла придуманное дальше... вот только что забыла, пока бежала, наверное. Папа так расстроился! С тех пор за мной всегда следовал конвой, вооружённый ручкой.

Однажды мне стало ужасно жалко запыхавшуюся, взмокшую маму, и я снисходительно сказала ей, протянув руку:

– Давай мне, сама запишу. Я ведь умею писать.

Умела. Мне было почти семь лет, я уже хорошо писала – вундеркинд же.

Такая маленькая и особенная я.

Про любовь

Вся наша семейка – хронические «сердечники». Мама, будучи совсем молодой, неспроста так сильно запыхалась, бегая за мной – у неё с юности моторчик сбоил, как она выражалась. А бабушка и дедушка умерли, не дожив до шестидесяти от того же проклятого диагноза, от больного сердца. Поскольку мама по профессии детский доктор, она постоянно мониторила мой моторчик, справедливо опасаясь дурной наследственности. Никакой патологии и опасности не обнаружилось. Родители были счастливы! А ведь тогда ещё мама про папу не знала, не представляла, по какой причине он в одночасье умрёт. Прежде папа не жаловался ни на какие проблемы, ни одна диспансеризация не выявляла неприятностей с сердцем.

Зато мама отлично знала про папу другое.

– Ты у меня дурной, – ласково говорила она, поглаживая его по щеке, по рыжим бакенбардам, переходившим в короткую бородку. – Как ты вообще живёшь в реальном мире, непонятно мне. До сих пор дожил и ни разу не побили.

Папа, пожимал плечами, внимательно разглядывая узор на ковре. Смутился. Папа был очень добрым и боготворившим самое в жизни главное, по его мнению – семью. Жена, дочь, родители жены – святое, драгоценное, то, чего ему так не хватало в детстве! Он будто добирал любви и заботы, не доставшиеся тому мальчику. Правда, добирал оригинально, своеобразно – сам заботился обо всех и даже чрезмерно. Зато всем нам рядом с ним было спокойно и надёжно: настоящий рыцарь, верный друг и всегда на страже – никто там моих не обижает?

– Белка в тебя... повезло же мне, – усмехалась мама, – мои любимые существа – оба с пламенным приветом.

Я слышала её слова, но не понимала, что имеется в виду. Однажды дошло: «пламенный привет» – поэтический дар. В сущности, она права – это отклонение от нормы. И папа у нас – добрый и обожающий свою семью мужчина – стал таким после обычного советского детского дома. Часто ли подобное случается? Нет. Отклонение.

Мама шутила, нежно любясь «особостью» своих обожаемых, умилялась. Но, думаю, была не так уж далека от истины. Папа точно был странным. Почему-то не смог закончить институт. «Почему-почему-почему?» – миллион раз спрашивала я его. Но лишь однажды получила что-то похожее на правдивый ответ, да и то не от папы.

– Почему-у-у? – в очередной раз завела я нудную шарманку, когда дома всюю шли разговоры о моём будущем, поскольку окончание школы неумолимо приближалось.

– Ну, как-то так получилось, – папа искал, за что зацепиться взглядом, дабы переключить тему, я прекрасно знала эту его манеру, – время такое было, приходилось работать, зарабатывать...

– Ты после детдома сразу взял и поступил! Сам! – не отставала противная я. – И ни куда-нибудь, а в МИИТ. Учился хорошо! Что вдруг произошло?

– Да я произошла, – сказала мама, войдя в комнату. Папа обрадовался возможности улизнуть.

– Мне... надо, – и стремительно вышел из комнаты.

– Мы поженились, и он решил, что теперь ответственен за всё, не имеет права тратить время на учёбу, должен содержать семью. Пошёл работать, подрабатывать, зарабатывать... Лишь бы я спокойно училась, лишь бы мы могли снимать комнатку и жить отдельно. Вагоны разгружал, почту разносил, к ремонтной бригаде прицепился – разнорабочим. Вкалывал по двадцать часов в день.

– А потом? А заочка?

– Потом ты родилась. В общем, поверь, я всю плешь ему проела этой темой. Но бесполезно. Дурной он.

В итоге папа до конца работал чертёжником на ТИЗ-приборе под крыльшком моего дедули – главного бухгалтера завода. Уже давно не надо было постоянно тревожиться о прокорме семьи: мы жили неплохо, основным добытчиком оказалась мама. Она выучилась в медицинском и стала прекрасным детским доктором, хотя и «простым» районным педиатром.

Простым да не простым! Мама... Типично советский человек в лучшем смысле этого слова. На её личном знамени, как и у папы, алыми буквами было начертано то же самое слово «ответственность» да ещё с тремя восклицательными знаками. Только папа свою зону ответственности сам ограничил ареалом обитания самых близких (не по-советски как-то, индивидуалистично), у мамы же она не знала границ. Работать – с полной отдачей, не щадя живота своего, не забывая, что государство бесплатно дало ей прекрасное образование; переработка – это нормально, с субботников уходила последней, всё личное имело значение только после общественного, всеобщего, государственного. И не за деньги (какие там деньги?) – за идею. Не коммунистическую, упаси боже. Идея заключалась в том, что надо служить обществу, быть врачом в самом высоком смысле этого слова, соответствовать строжайшим критериям понятия «доктор». Чеховский доктор Дымов – её идеал и герой, вот как-то так.

Интересно, как они с папой нашли друг друга, как сошлись? Красивая, статная и во всём правильная девушка из очень благополучной столичной семьи и добрый, мягкий детдомовский юноша с честными зелёными глазами и страстным желанием постигать и любить этот мир. После детского дома и при этом без всякой обиды на жизнь! Возможно, он единственный такой на этом свете. Впрочем, если вдуматься, то, несмотря на большую разницу во многом, никаких противоречий между этими двумя личностями не было. Оба – идеалисты-гуманисты.

В студенческой компании, где пели Окуджаву и верили в прекрасное далёко, к которому рифма «жестоко» никак не монтировалась, и произошла случайная встреча среди таких же московских молодых идеалистов. Молодёжь читала стихи Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной и верила в будущий... ну, если не коммунизм, то очень правильный социализм, где царят справедливость и милосердие.

В своём понимании мира они были нормальными людьми, только сильно оглушёнными марксистско-ленинской пропагандой, но при этом вовсе не слабоумными. Поэтому постепенно прозревали, поэтому, прочитав «Архипелаг ГУЛАГ», искренне ужаснулись и с тех пор уже не могли быть прекраснодушными болванами. Но извести из своего нутра советскую интеллигентскую закваску и инфантильную веру во всё хорошее до конца не сумели (возможно, это не так уж и плохо?). Но откуда в папе-то взялась интеллигентская закваска? Детдомовский же был пацан.

– Да потому что дурной, родился таким, – улыбалась мама.

Они очень любили друг друга.

Выучившись на доктора, мама за пару лет практической работы педиатром стала любимицей всех мамаш в округе, в поликлинику которой её распределили. В этом же районе мама с папой и жили с самого начала. Квартира – двушка, получившаяся из положенной папе комнаты от государства и прабабушкиной однушки. С доплатой, разумеется, бабуля и дедуля помогли. Дедуля к тому времени уже служил главным бухгалтером завода, они с бабулей жили весьма благополучно. В своё время бабуля смогла оставить службу в НИИ и полностью перейти на должность дедулиной жены, мамы, хозяйки уютного дома, а впоследствии доброй бабушки.

Отдельная квартира для моих родителей получилась в результате непростой в тогдашних условиях операции и не без игр за гранью дебильных законов – с помощью знакомств и даже небольших взяток, чтобы где-то на что-то закрыли глаза. Господи, будто нищих обездоливали или детей в рабство продавали! Сложная, нервная и нудная, как я поняла, была история, но очень важная для моих родителей – обычных советских людей, как правило, намертво взятых за горло жилищным вопросом на всю жизнь. Вопрос звучит банально: где жить, чтобы строить свою собственную жизнь, создавать семью, растить детей? Чтобы, в конце концов, иметь нормальное человеческое право закрыть за собой дверь и побыть в одиночестве. Кошмарное было общество в этом смысле. Бесперспективное и людоедское. Коммуналку вам всем в рыло! Или три поколения в одной двушке – и попробуйте не переубивать друг друга.

Ещё расскажу про маму, про то, какой она была знаменитостью района. Местные мамочки детей от нуля до шестнадцати лет считали её самой внимательной и знающей плюс фантастически ответственной – десять раз позвонит после посещения захворавшего малыша! И больничные листы выписывала и продлевала по первой просьбе, ибо была убеждена, что лучшее лекарство болящему ребёнку – мама рядом и подольше, до самого выздоровления. И если есть малейшая возможность малышу «высидеть» дома, пусть он всего лишь устал к концу четверти, и родительница просит «больничный» ради пары дней отдыха вымотанному третьеклашке, то, в отличие от других докторов, мама никогда не отказывала.

Знаю, что у неё бывали неприятности из-за этого, начальство «песочило» и ругало. Но мама умела за себя постоять, к тому же врачей, тем более хороших, ощутимо перестало хватать к расцвету «застоя», да и все родители района встали бы за своего любимого доктора горой. Потому, сцепив зубы, начальство терпело, тем более, что она была такая одна.

Другие доктора свято блюли интересы государства – сэкономили казённые деньги и не разбрасывались больничными листами направо-налево. Ещё чего, обойдутся, чай, не холера с чумой на дворе, а просто банальные простуды, и, между прочим, благодаря заботе государства, всеобщим прививкам, перке с манту и регулярной сдаче анализов кала нет никаких эпидемий. Когда ещё так благополучно жили? Нечего лишний раз лезть в карман государства, ишь! Поэтому до температуры 37.2 – никаких «дома», только в школу, в садик. А родителям – на работу, выполнять государственный план.

Итогом обожания мамского населения района «чУдной и понимающей докторши» стало то, что в нашем доме все кухонные шкафчики беленького в зелёный цветочек гарнитура, а также добрая половина трёхстворчатого родительского шкафа и чешской стенки полностью оказались забиты закрутками, вареньями, соленьями домашнего изготовления. А также кон-

фетами, винами и коньяками. Кое-что пошло «жить» на шкаф и под родительскую раздвижную софу. Под мою девичью узкую кровать тоже впихнули сколько-то банок консервов.

Ни в будни, ни в праздники у нас не было проблемы «накрыть стол» для любого количества гостей: маму задаривали покупными тортиками и домашними пирогами, палками пахучих венгерских колбас и дефицитными консервами, икрой, импортным кофе и даже изредка экзотическими фруктами. Если к людям каким-то образом попадал тропический дефицит, то многие спешили поделиться вкусной ценностью с тем, кого считали очень важным человеком для своей семьи. И разве это не детский доктор в том числе? Врач, который когда-то очень помог и продолжает давать бесконечные бесплатные консультации по телефону, всегда ангельски терпелив и никогда не злится. Даже если телефонный звонок слегка спятившей на здоровье младенца молодой мамы поднимает доктора из тёплой постели среди ночи.

Мама ни с кого и никогда не брала денег! Ни разу в жизни. А подарки принимала. Однажды, будучи ещё совсем молодой, она попыталась не взять у женщины банку с вареньем и даже осерчала. Так та разрыдалась, впала в истерику, бухнулась на колени и почти десять минут сипло кричала, уткнувшись лицом в мамины колени и вцепившись пальцами намертво в белый халат, что для неё это безумно важно, что сынок – единственный смысл и радость, что ей уже сорок, а ему всего четыре, что без него она просто повесится сразу же, что доктор для неё – бог, и для неё совершенно необходимо отблагодарить божество, иначе её мальчик снова заболеет... После этого случая, потрясшего впечатлительную маму, она больше не рисковала и даров не отвергала. Но деньги – никогда, ни под каким видом, никаких конвертиков!

Вот такая работала в нашем районе известная детская врач Софья Львовна Нейман. Ах, да... забыла сказать: по маме я – чистокровная Нейман. По папе – неизвестно, я имею в виду национальность. Мне думалось, судя по его чертам лица, что в нём намешано много кровей, но самые сильные гены оказались из «союза рыжих»: рыжие кудри, ресницы, веснушки до ушей. Моя природа, вместо того, чтобы взять себе материнскую еврейскую беспримесную красоту и статность, скопировала папашу – ирландца ли, шотландца, не знаю, кого. Того, кто дедушку лопатой убил, по слухам.

Впрочем, бабуля Нейман горячо уверяла, что рыжий цвет – очень даже еврейский, мол, рыжих евреев собралось пол Израиля, и что мой папа Виктор Викторович (имя в детдоме ему дали, как часто тогда случалось, в честь победы в Великой Отечественной войне – и имя, и отчество) – типичный, настоящий, стопроцентный аид. Папа хохотал и говорил, что не возражает, мама тоже смеялась и уверяла, что ей всё равно и всегда было всё равно. А я так и не поняла: всё равно ли было бабуле с дедулей? Похоже, что не очень. Но с какого-то момента это уже не могло иметь ни малейшего значения.

Бабули и дедули не стало за два года до ухода папы, и умерли они с разницей в пять месяцев, успев прописать меня в своей квартире и всё оформить, чтобы не подкопаться никому и никогда, а «у девочки сразу своё жильё». К шестнадцатилетию я стала хозяйкой двухкомнатной роскоши в очень хорошем доме недалеко от метро «Профсоюзная». Сдалась мне эта квартира! Лучше бы бабуля с дедулей пожил подольше, подольше!

– Они очень тебя любили. Даже больше, чем меня, – тихо плакала мама на поминках. А то я не знала. Помню, как дедушка не просто громко разговаривал, а кричал... Эх, он мне тогда казался таким большим, огромным! Когда выросла, выяснилось, что роста в нём было всего 169 сантиметров. Но в моей памяти седой великан громыхал зычным басом:

– Оставьте ребёнка в покое! Корреспонденты, киношники, интервью – с ума посходили! Да, девочка – гений, но не смейте её мучить! Её надо беречь! Вы что – про вундеркиндов не знаете? Им намного проще поломать жизнь, чем любому обычному ребёнку!

Бабуля согласна кивала и в паузы, когда дедуля переводил дух, быстро вставляла возмущённое:

– Безобразие, да!

Только зря они кипятились: мои родители вовсе не хотели никакой популярности и славы, оно само так вышло. Кому-то попало в руки моё стихотворение, он его показал ещё кому-то, кто-то оказался журналистом, у которого был друг литератор... ну, и понеслось. Москва же – путь к вершителям судеб не такой уж длинный, намного короче, чем у жителей провинции. Мама с папой, скорее всего, просто не знали, как правильно реагировать, растерялись и не умели противостоять наглому наскоку прессы и дурковатой нашей творческой и околотворческой интеллигенции, обожающей на кого-нибудь молиться, из кого-то лепить идола. А уж если это ребёнок – совсем здорово, ведь прибавляются «чистота помыслов, невинность души».

И пошла писать и плясать губерния про «новое поколение, рождённое в такое время, когда всё нравственное, возможно, растоптанное безжалостными коваными сапогами прошлых годин, расцветает в детских душах, возвращаясь к нам через этих удивительных малышей гениями Цветаевой, Пастернака и других великих...» Реальная цитата из пафосной статьи в «Советской России», пожелтевшая вырезка которой с моей мордой лица хранилась у нас вместе с другими подобными публикациями в отдельной бухгалтерской папке. Тётя-корреспондент захлёбывалась от восторга нового знания про вундеркиндов и реинкарнацию.

На перроне, в нестёртых следах Пастернака

оставляя свой след,

ты вздохнула, как будто бы внутри простонала,

восьмилетний поэт.

Евгений Евтушенко посвятил эти строки Нике. Не знаю, читал ли он мои стихи, попадались ли они ему... Может, не понравились в отличие от Никиных?

Переживала ли я, завидовала? Нет, мне вполне хватало внимания прессы и последствий оного. В школе со мной учителя чуть ли ни на «вы» разговаривали, а одноклассники взирали с удивлением, потому что... Потому что я была нормальным ребёнком, обычной «хорошистой» и изрядной любительницей проказ. Не вязался мой образ с «большим поэтом» в детских головах (во взрослых, впрочем, тоже). В общем, лучшие подружки быстро забывали про то что я – та самая Белла С..... Белка я, обыкновенная, свойская Белка. И слава богу!

Меня здорово огорчало, когда с приходом бабули и дедули в доме начинались трения по поводу моей «популярности». Взрослые спорили, иногда ругались, это пугало. Даже кот Фима забивался куда-нибудь подальше с глаз и вылезал из ниоткуда лишь тогда, когда всё успокаивалось. Я чувствовала себя виноватой... Лучше пусть ничего не будет – никаких фотографий в журналах и восторженных публикаций о «юном даровании», лишь бы дома царил мир без конфликтов, хотя те конфликты хорошего с лучшим были не опасные, не страшные – все родные хотели мне лишь добра. И не очень понимали, как правильно воспитывать любимого ребёнка-вундеркинда.

Поэтому просто обожали и берегли.

Я их всех очень любила!

Рождение демона

В один прекрасный день папа нашёл себе в жизни заботу: оказывается, его всерьёз беспокоило моё «обезьянство». Слишком активная мимика, любовь к кривлянию и, самое, с его точки зрения, опасное, что мои чувства всегда отражались на лице. Папа считал это признаком незащитности: по его мнению, для любого встречного-поперечного я никакая не загадка, не

тайна, а со всех сторон чёткая мишень. Профессиональные знатоки детей – педагоги – здорово подпитывали его беспокойство.

– Не всё в порядке, – хмурилась, качая головой воспитательница в детском саду.

– Что не так? – пугался пришедший за мной папа.

– Вы бы показали девочку невропатологу. Или даже... ну, вы понимаете.

– Ничего не понимаю! – сердился и нервничал папа. – Что с Беллой не так?

– Очень кривляется, чересчур, лицо постоянно... шевелится. Даже когда она молчит, понимаете? Или слушает что-то. Может быть, тик? Похоже, знаете ли, на тик.

Моя мама педиатр, и она прекрасно знала, что нет никакого тика. Но будучи гиперответственным человеком, показала меня трём невропатологам – именитым и с репутацией. Они в свою очередь уверили маму, что у её дочери нет неврологических проблем, тика и прочих бед, а есть сильная эмоциональность и «активная мыслительная деятельность». В силу малолетства я просто ещё не умею контролировать свои эмоции, и они у меня все напоказ. Пройдёт, а навык контроля непременно придёт, нет никаких поводов для треволений.

Родители успокоились, а я сама и не волновалась. Но годы шли, я уже ходила в младшую школу, а «контролировать» физиономию так и не научилась. Поэтому меня «браковали» для кино о вундеркиндах и по этой причине фотографы сходили с ума: «вечно получается какой-то косоглазый чёрт, а не хорошенькая девочка!» Плохие были фотографы, теперь я понимаю. Детей просто надо уметь снимать. А этим было нужно, чтобы я принимала правильные позы. Позировать – о, нет, не для меня!

Говоря откровенно, не очень помню, как всё происходило на самом деле, пересказываю по воспоминаниям родителей. Сами же ситуации подзабыла – слишком была мала. Папу происходящее тревожило, мучило, он беспокоился за меня и думал, как предотвратить возможные неприятности и беды. Думал, думал и придумал.

Помню, как однажды он сказал:

– А давай учиться изображать Снежную королеву!

– Зачем? – удивилась я. – Она ведь плохая, злая.

– Понимаешь, – папа замялся. Как объяснить ребёнку, пусть даже слегка гениальному, что лицо твоё – враг твой? – Иногда мысли и чувства бывают написаны на твоём личике, – я тут же подбежала к зеркалу.

– Где?

Папа засмеялся.

– Да везде! Слышала слово «мимика»? Это выражение глазок, улыбка или сморщенный носик.

– Знаю!

– Ну вот... у тебя мимика очень активная. Это называется эмоциональная выразительность.

– Это плохо?

– Вовсе нет! Но иногда может быть не очень... безопасно. Например, если какой-то не очень хороший... плохой человек... замыслил что-то против тебя и хочет знать твои мысли.

– И он их видит? – помню, я прикрыла ладонями лоб.

– Он может о них догадаться, глядя на твою прелестную мордашку. И его нужно обмануть!

– Как?

– Научиться делать выражение лица Снежной королевы, у которой оно всегда одинаковое, как в сказке, как в фильме, помнишь? Лицо не выражает ничего. Как будто ты участвуешь в карнавале и на тебе маска этой королевы. Знаешь, у Высоцкого есть одна песня... ой, это тебе пока рано!

Он не говорил о том, что надо мной могут смеяться, как над обезьянкой-игрункой, или думать, что я ненормальная. Что неприлично кривляться, это может быть неприятно окружающим. До всего этого я додумалась сама намного позже, когда уже безупречно владела умением делать лицо Снежной королевы. Некоторые называют подобный навык покерфейсом – модное нынче словечко. Ни папа, ни я тогда его не знали. Папа не был опытным игроком в карты, мы всей семьёй иногда дулись в дурака или в фараона, на этом карточные познания у нас заканчивались.

Научиться придавать физиономии лик Снежной королевы – маску для выживания, чтобы тебе не сделали больно, а если и сделали, то не поняли этого и не получили бы своей гадкой радости; если не быть, то хотя бы казаться сильной и непошибаемой тогда, когда это необходимо, а необходимо бывает слишком часто – вот такую задачу поставил мой папа.

Кстати, про упомянутого им Высоцкого я вспомнила лишь через несколько лет, когда папы уже не стало. Задумалась, о какой песне речь? Высоцкий всегда мне очень нравился как поэт, но я никак не могла найти те самые слова в его песнях, которые мог иметь в виду папа. Однажды мне поможет мама, но это всё позже...

Когда я стала чуть старше, но всё ещё была в процессе обучения покерфейсу, папа переименовал название маски.

– Медведи – очаровательные звери! – говорил папа. – Но почему они бывают опасны и непредсказуемы для человека? Именно потому, что у них вообще нет никакой мимики! Мы не можем угадать, что мишка чувствует, чего хочет, какое у него настроение. Смотри: по собачьей мордахе видим, по кошачьей тем более, а с медведем прямо беда! Давай учиться изображать хорошенького плюшевого медвежонка. Давай?

Поначалу у меня плохо получалось. Только перед зеркалом, но стоило от него отойти...

– Белка! Ну что с тобой происходит! – восклицал папа через пять минут. Я читала книжку, где по сюжету происходила погоня. Будто смотрела кино, настолько ярко представляла себе происходящее. Личико меня и выдавало.

– Ой! – восклицала я и по памяти воспроизводила мышцами физиономии что-то деревянно-неподвижно-тупое.

– Ужас какой! – смеялся папа и тащил меня к зеркалу. – Посмотри! Что за морда Ваньки-дурачка?

Увидев в отражении свою вытянутую рожицу с крепко сжатыми губами, смешно вставшими дыбом бровями, выпученными глазами и почему-то надутыми щеками, я тоже начинала хохотать. Потом мы возобновляли тренировки «медвежонка» перед зеркалом и отвернувшись от него. И так каждый день.

– Что вы творите, господи? – мама качала головой, глядя на нас и, видимо, снова сомневаясь: нормальные ли её родные-любимые или всё-таки нужно обоих тащить к тому врачу, которого даже называть страшно?

– Мы учимся выживать в реальном мире! – дружным дуэтом отвечали мы с папой.

Папа меня недооценил. Уже в восемь лет я сама придумала название для правильного выражения лица. Ведь я поэт, а потому много читала и больше всего поэзию. Пушкин и Лермонтов были моей первой книжной любовью. Я вообще не запомнила стадию своего взросления, когда читала или мне читали Барто и Маршака. Наверняка эти прекрасные авторы сыграли роль в моей очень ранней жизни, но я не помню. А вот томики Пушкина и Лермонтова, Тютчева и Есенина как раз стали любимыми «детскими книжками».

Потому-то я быстро нашла подходящую цитату для наших с папой экзерсисов. «И на челе его высоком не изменилось ничего» – Пушкин. «И на челе его высоком не отразилось ничего» – Лермонтов. Это всё про Демона. У кого точнее, ближе? Всё же Лермонтов. «Не отразилось» – вот, что главное.

Но я не стала рассказывать о своей находке папе, который играл с «медвежонком» и умилялся этому. Мне показалось, что образ, найденный мною, может его расстроить. Поэтому для папы придуманная маска так и осталась умением «превращаться» в медвежонка. В моей же трактовке я «включала Демона», и в этом находила некий романтизм.

Для любящих родителей мы, наверное, до старости плюшевые медвежата. До их старости... Иные до своей не доживают, не то, что до нашей. Будучи уже немолодой женщиной, иногда так хочется позвать: «Мама! Скажи мне что-нибудь. Скажи, что всё будет хорошо, скажи! Помнишь, как ты мне написала записку в школу? В ней было всего лишь одно слово – «Наплевать!» Я держала её в кулачке, а кулачок в кармане фартучка, бесконечно доставала смятую бумажку, перечитывала единственное слово и улыбалась, мне становилось хорошо, я уже совсем не боялась контрольной или вызова к доске... Мам?» Никто и никогда больше не напишет такой записки. А если и напишет, разве сможет она иметь ту же волшебную силу?

Мама внимательно наблюдала за тем, что мы с папой вытворяем. Иногда, когда я потихоньку тренировалась перед зеркалом, то ловила на себе её взгляд. Подозреваю, что у них с папой произошел какой-то разговор, и он втолковал маме, что мы задумали, зачем и для чего. Больше эту тему мы с ней не обсуждали, папа решил, что не стоит лишний раз огорчать маму – она слишком хорошо относится к миру и не согласится с тем, что от людей надо защищаться и прятаться.

– Она у нас идеалистка! – говорил папа, а в голосе нежность. Эх, папуля! Можно подумать, что ты – нет. Просто идеализм бывает разный: бывает открытый и доверчивый, а может быть битый, многоопытный и осторожный.

Однажды, когда папы не было рядом, мама сказала:

– Только не надейся, что хоть когда-нибудь у тебя получится одурачить меня своей бесстрастной мордочкой. Не трать силы на притворство, – и ласково потрепала меня по затылку.

А я и не пыталась её обманывать.

Пришло время, и в неполные тринадцать лет я научилась приказывать Демону «включаться». Это случилось, когда окончательно стало ясно, что мой дар исчез. Как и не было ничего. Уходил он, не торопясь, не сразу, будто размышляя, уйти или остаться.

Сначала пропала щекотка. Я удивилась, но особенного значения не придала, настроение у меня из-за этого не испортилось, лишь возникло ощущение, будто чего-то не хватает. Будто я забыла надеть пальто и пошла под дождь и снег без верхней одежды, как дура.

Но произошло ужасное событие. Я принялась сочинять стихотворение. Как обычно, на ум сама пришла первая строчка, я схватила ручку, открыла блокнот... и поняла, что ничего не происходит. Пустота. Тишина. После единственной строки не придумалось больше ни слова.

Как передать те чувства?

Понимание, что хочу выразить, какая мысль мучительно бьётся в мозгу, ища выхода и выражения, но слова, образы, метафоры будто разбежались и попрятались, вместо того, чтобы, как прежде, непринуждённо литься ручейком из головы, в которую будто вмонтирован Кастальский родник. Впервые в жизни начался суетливый поиск слов, мучительный их подбор, я «лезла за ними в карман», бесконечно бормоча первую строку, чтобы не забыть, не забыть...

Прошиб пот, стало страшно. Кошмар длился несколько минут. Потом с трудом что-то начало вытанцовываться, слова повылезали из укрытий, рифма получалась, размер соблюдался, мысль выразить удалось. Но кайфа не было! Какой там кайф – я ужасно расстроилась. Что со мной? Может, случайность, один раз и больше никогда не повторится? Или я нездорова?

Надежда оказалась напрасной. Я могла сочинять стихи, но они изменились, стали другими. Ведь теперь они рождались иначе – не сами собой в такт моему дыханию, а в вязком поиске слов и образов, тяжком подборе синонимов и метафор.

И краски мира вокруг померкли, из гуашевого он превратился в акварель оттенка сепии. Акварель и сепия – это красиво, конечно, но не сравнить с яркостью того, что было прежде.

День ото дня становилось хуже. Мир больше не звучал мелодиями и не искрился красками, он становился похож на то изображение, которое выдаёт тысячу раз заезженная плёнка на видеокассете: слабый цвет, который то есть, то пропадает.

Пока никто не знал, что я больше не могу творить с радостью и получая удовольствие от процесса – не призналась никому, даже папе.

– С тобой всё в порядке? – спросил он, прочитав пару моих сочинений.

– А что? – захлопала глазками я.

Папа читал последнее, записанное в блокнот. Блокнот в синем клеёнчатом переплёте всегда лежал на моём письменном столе в свободном доступе. В любой момент родители могли войти ко мне и, не спрашивая разрешения, взять его. Так повелось. Однажды, будучи ещё дошкольницей, я обиделась на маму, когда она спросила, можно ли ей посмотреть мою тетрадку с рисунками и записями.

– Зачем ты спрашиваешь? – возмутилась я. – Маме и папе всегда можно.

– Спасибо! Ну, это пока ты так говоришь. А вот когда подрастёшь...

– Так будет всегда! – отрезала я. – Вам можно видеть всё, что у меня есть.

Видимо, родители поняли то разрешение буквально, всерьёз восприняв слово «всегда», решительно произнесённое семилетней девочкой. Уже в третьем классе мне перестала нравиться родительская бесцеремонность, но я боялась их обидеть, запретив приходить в мою комнату и смотреть тетради или блокноты. И что с этим поделать? Хотя я ничего и не скрывала от них, не прятала (нечего было прятать), но с некоторых пор мне от чрезмерной своей открытости становилось не по себе.

Если честно, в возникшей ситуации больше всего мне не нравилась сама я. На себя злилась, себя ругала. В голову шипящей змеёй заползло слово «предательство» – всего лишь за мысли о том, что меня не устраивает такое положение вещей. Значит, я предаю любимых моих людей недоверием?

Придя в мою маленькую комнату, где помещались письменный стол, кровать и небольшой шкафчик с моей одеждой (я обожала свою «обитель», мою детскую, главное убежище и хранилище всех самых сокровенных тайн!), папа, как обычно, взял блокнот, присел на кровать и погрузился в чтение.

– Тебя что-то беспокоит?

Стихи стали другими, он это видел, понимал. Исчезло лёгкое дыхание, сменившись тяжёлым хрипом. Дар уходил, отступал. Не так уж быстро, неспешно, иногда вдруг на короткое время делая шагок назад, будто возвращаясь, но потом опять ускользал. И к тринадцати годам всё было кончено.

Разумеется, я заранее попыталась подготовить родителей к неизбежному. Честно говоря, мне даже трудно понять, из-за чего переживалось больше: из-за своей потери или страха огорчить маму и папу, которые всегда по-детски радовались каждому моему творению. Нет, они не были тщеславны, и дедуля напрасно боялся за меня, немножко подозревая родителей в честолюбии за мой счёт. Мама и папа никогда сознательно не допустили бы ничего вредного и опасного для меня. Они пребывали в радости от того, что их дочери от рождения дарованы талант и удовольствие от него и прекрасное дело. Навсегда. Ибо куда ж оно денется-то?

Странно, что многие и многие, даже читающие и образованные, часто не знают о судьбах вундеркиндов или не хотят об этом думать, надеясь, что именно их детей минует чаша сия. А часто бывает так: талант вдруг уходит от повзрослевших гениев, и никто не знает, почему это происходит. Дара просто больше нет. Без него, в одиночестве, остаётся обычный, нормальный, хорошо развитый ребёнок, но не более того. Один из многих, такой же, как все.

Так случилось и со мной. Стоило начаться бурному половому созреванию, как стихов не стало. Не стало и той радости, которую они всегда приносили мне. Взрослые гормоны сожрали детский дар? Проснувшиеся «основные инстинкты» противоречили тому, что делало меня

особенной? Странно, ведь именно «любовно-гормональная» тема часто бушевала в головах великих поэтов, создававших шедевры. Один Пушкин чего стоит! А.С. проявил себя гением с детства, только от него ничего не ушло, талант не покинул его кудрявую голову, когда он превратился во влюбчивого юношу. Напротив.

Понятия не имею, почему и отчего бывает и так, и эдак. Мой случай из «эдак».

Помню, как в тот день и в тот момент, когда я честно сказала сама себе «это всё, конец», передо мной оказалось зеркало. И я увидела в отражении тот самый лик Снежной королевы, медвежонка, Демона, который мы с папой тренировали. Вот оно, получилось! Спокойное, бесстрастное лицо, взгляд с лёгкой поволокой, губы сжаты чуть плотнее обычного (но об этом ведь знаю только я!), брови в идеально ровном положении. Ни малейшего напряжения мышц щёк и скул. И кое-что новенькое: нижняя челюсть совсем немного выдвинута вперёд, абсолютно незаметно для посторонних, но я-то знаю! Будто упрямец вздёрнул подбородок, чтобы не выглядеть слабым (или сдержать подступившие слёзы) – на это похоже больше всего. Нужно запомнить такое состояние и выражение.

Запомнила, потому что знала: в скором времени мне обязательно придётся применять новое умение.

Я боялась травмировать родителей, а они, как выяснилось, безумно испугались за меня.

Когда абсолютно спокойным голосом я рассказала им о том, что, видимо, стихов больше не будет никогда, оба побледнели, будто на их глазах дочь приставила к виску пистолет.

– Что случилось? – тихо спросила мама.

– Да ничего особенного! – беззаботно-спокойно ответила я – тон тоже отрепетирован. – Ну, ушло оно, убежало-ускакало от меня, как подушка-лягушка. Видимо, я что-то сделала не так, и меня сочли недостойной... – пыталась я шутить, но лучше бы этого не делала.

– Нет! – воскликнул папа, вглядываясь в моё лицо. Смотри, папа, смотри! Всё получилось, поэтому ничего ты не поймёшь, не считаешь с моей физиономии. Любуйся медвежонком. – Так не бывает! Это всего лишь временно. Пубертат... это пубертат влияет. Потом всё вернётся, я точно знаю, я... я читал.

Заврался папочка. Но я не стала его уличать. Пусть думает, что верю.

– Ну и хорошо, если вернётся, – улыбнулась я. Отрепетированной улыбкой, которую подобрала специально для особых случаев: расслабленная, искренняя, правда, «без глаз» – глаза не улыбались, оставаясь бесстрастными гляделками. Эдакая отдельная улыбка, как у Чеширского кота. Включил-выключил. Умело растянул губы – стянул обратно. Не обнажая зубов, и это совсем нетрудно сделать принуждённо. Непринуждённая улыбка размыкает губы, она другая, я её называю муми-тролльской: щёки поднимаются, вместо глаз остаются узенькие сверкающие щёлочки, нос смешно сморщивается. Помните дивный советский мультфильм про муми-семейку? Они там все так улыбались.

Замечали, что непринуждённая, искренняя улыбка выглядит беззащитно? Вернее, выдаёт беззащитность улыбающегося. А беззащитность тире слабость. Поэтому зубки в улыбке, даже красивые, показываем только своим, самым близким, кому доверяем.

С тех пор мы всей семьёй играли в игру «талант вышел ненадолго покурить, он обязательно вернётся, надо просто спокойно ждать, верить и учиться».

А папа, как коршун, следил за тем, чтобы я не переживала. Он не давал развивать эту тему и, гневно сверкая очами, шикал на каждого, кто решался задать вопрос, а где, собственно, новые произведения, стихи-то где? Поэты обычно стихи сочиняют.

– А почему ты больше не пишешь стихов? – бесхитростно интересовались разные люди – одноклассники, учительница литературы, знакомые. В зависимости от близости наших отношений, я с физиономией Демона отвечала либо «неохота больше, надоело», либо «не пишется».

Забавно, что неожиданный уход моего таланта случайно совпал с событиями государственного масштаба – с началом Перестройки. Новое мышление, ускорение – это всё как раз бурно начиналось. Для себя я сформулировала так: закончилась эпоха поэзии, началась эпоха прозы. Перестройка – жестокая необходимость, честная и прямолинейная проза, даже публицистика. Не до стихов нынче, товарищи! Будем перестраиваться и встраиваться в новую жизнь. Ускоряясь на ходу.

Так и завершилась история моего пути в Большой поэзии. Оставила ли я в ней след или нет, покажет время, как водится. Думаю, нет, судя по тому, что происходит нынче. След удаётся оставить немногим, самым избранным. Слишком много нас в океане всеобщей грамотности и полуграмотности – поэтов, писателей, литераторов, сценаристов.

А что понаделал интернет, став всеобщим и доступным, потеснив книги, телевизор, вообще всё! Он сыграл мощную роль дрожжей для «народного творчества» – все пишут, все сочиняют и творят! Поди сориентируйся и найди на самом деле стоящее и настоящее в этих развалах компоста. Достойный «след» слишком часто оказывается затоптанным бесконечным количеством желающих проложить свою тропу на литературный Олимп. Интересно – зачем? Слава и деньги? Деньги точно не аргумент, ибо этим не заработаешь, а вот слава... Зов тщеславия – удивительно сильная штука, вечно живущая в человеке, как бактерии-паразиты. Люди в интернете раскрылись – и в зудящем желании славы, и в своей бездарности, и в адской зависти к тем, кто одарён или хоть немного успешен.

Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражён всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне...

Александр Сергеевич на эту тему честно написал. Очень многим до зарезу нужна слава, но не все Пушкины. Все – это все, то есть, серость, масса. Но затоптать могут, часто для того и живут, чтобы затаптывать кого-то.

Интересно, если бы Александр Сергеевич жил сегодня и публиковал свои стихи в сетях, кто-нибудь из комментаторов написал бы ему «Отстой! Убейся об стену, аффтар!»? Непременно написал бы. И что и как ответил бы сегодняшней Пушкин – большой вопрос, над которым увлекательно размышлять... Гм, всё же хорошо, что в его время интернета не было и всеобщей грамотности.

Глядя на нынешнюю «цифровую славу» некоторых, становится очевидно: если ежедневно не поддерживать к своей персоне интереса – настойчиво, назойливо, всеми возможными способами, решительно отбросив всякий стыд, интимность и понятие личного пространства, то современная публика забывает «героя» не то, что на следующий день, а через несколько часов! Только что тобой восхищались и обожали так, как можно любить лишь ожившее божество. Но выбор столь велик, публика до такой степени не просто избалована, а завалена по маковку кандидатами для обожания и фанатизма, что шансов остаться в её памяти нет ни у кого, кроме как у единиц самых по-настоящему выдающихся, ставших бы знаменитыми в любое время и при любом раскладе. Во всех остальных случаях даже талантливым людям не удастся внедриться в души зрителей-читателей-почитателей надолго, тем более – навсегда, если не выполнить главного условия: не заполнить собой всё медийное пространство. А уж коли это получится, то и талант вовсе необязателен! Таковы условия игры сегодняшнего дня.

Впрочем, мой «вундеркинизм» закончился лет за пятнадцать до появления доступного всем интернета. Но свою минуту славы в нежном возрасте я ухватила.

Подозреваю, мало кто поверит, но я ни грамма не скучаю по той известности. Возможно, благодаря мудрой родне, всё же сберёгшей меня от «звёздного» статуса в его полной мере... может, не тех масштабов была слава, чтобы успеть отравить моё сознание... может, я не из

тщеславных. Иногда мне кажется, что во мне вовсе нет этого чувства – я слишком ценю душевный покой и гармонию.

Нет, не из-за ушедшей вместе с даром популярности я переживала. Если по чему и тосковала в те времена, то по радости самого процесса рождения стихов, по весёлой щекотке и потрясающей яркости восприятия мира, которую дарило творчество. Поблекший мир, уж поверьте, куда менее красив, интересен и радостен. Вот этого было жаль, а газетных статей и восхищённого оханья – ни капельки.

Иногда меня, маленькую, спрашивали, для чего, мол, ты сочиняешь стихи? Один корреспондент так прямо и спросил: «А зачем ты пишешь стихи?» Я посмотрела на него, как на дурака, и промолчала. Потому что тогда ещё не могла правильно ответить, сформулировать. Не «зачем», а «почему»! Потому что мой мозг так работал, независимо от желания-нежелания, то была данность, часть меня, моя суть. Ни для чего.

Потому что дышала.

Как оказалось, можно продолжать дышать и без поэзии. Но жить стало грустнее.

Правильно папа придумал обучить меня «делать лицо», пригодилось. Иначе привычным для меня сделалось бы выражение лица, будто я укуса глотнула. Или кто-то умер совсем недавно. Как неприятны люди, которые «носят» такие лица постоянно! С ними не хочется ни общаться, ни быть рядом. А у них, может, в душе кровавая дыра.

Вот в моей душе будто образовалась дырка, через которую сквозило холодом, печаль стала незваной задержавшейся гостьей в моей комнатке, где на письменном столе больше не царил ни синий, ни красный, никакой вообще блокнот со стихами. Пустое место без блокнота представлялось ледяной чёрной прорубью, в которую страшно взглянуть – тянет броситься туда, как... как в пропасть. Тогда мне часто снилась страшная расщелина-пропасть в горах, стоя на краешке которой, я с трудом держала равновесие, и мне было безумно страшно! В какой-то момент понимала, что проще прыгнуть к чёртовой матери, чем так мучиться, тяжело дышать и трястись, балансируя. Почему-то во сне в голову вообще не приходило сделать шаг назад, подальше от пропасти, элементарно же! Но нет. Я не выдерживала напряжения и то ли падала, то ли прыгала туда, где дна не видно. Тут же просыпалась в ужасе. Сердце выскакивало. «Шаг назад, шаг назад!» – всерьёз ругала себя, надеясь, что в следующий раз поступлю во сне правильно. «Любимый» повторяющийся кошмар, начавшийся в подростковом возрасте и приходивший в мои сны без всякого повода, когда вздумается, даже если всё хорошо и никаких стрессов не происходило.

Так вот, то место на моём столе, где прежде всегда лежала тетрадь со стихами, представлялось чем-то вроде пропасти из сна.

Было трудно, и это приходилось скрывать. Ведь ситуация безвыходная, что толку скулить или жаловаться? А родители и так извелись донельзя, стараясь меня оградить, защитить от правды и реальности, в которой больше не было стихов. Они отрицали реальность – при мне, для меня, напоказ, вслух. Чтобы я не переживала. Или сами верили в то, что говорили? Не знаю.

Очень непросто играть в игры с близкими людьми, у себя дома, в любимой семье. Особенно, когда тебе всего тринадцать-четырнадцать лет, но ты понимаешь, что кое-что рухнуло безвозвратно. И об этом ни с кем не поговорить.

Потом пятнадцать лет, шестнадцать. Жизнь шла по накатанной, спокойно и ровно, если не считать, что в родном доме появилась запретная тема, в глазах родителей навсегда поселилась тревога, в воздухе навеки повисло ожидание, что в один прекрасный день я вдруг скажу: «Всё вернулось! Вот новые стихи!» Иногда будто слышался жалобный звон натянутых, напряжённых нервов родителей, их каждодневная просьба, мольба неведомому божеству атеистов: «Ну, пожалуйста, вот сегодня, в крайнем случае – завтра!»

Они изводили и себя, и меня. Но себя всё же сильнее. Видимо, однажды папино сердце просто не выдержало.

Нужно заканчивать тему, а то по десятому кругу пойду. Как начинаю копать конкретно в этом, так не могу выбраться, ношусь белкой по колесу – снова и снова переживаю и чувства тогдашние, и события, и тот страшный вечер. Хватит! Всё сказано уже. Коротко резюмирую.

Итак, стихов я больше не писала. Лет с четырнадцати – вообще ни одного и не пробовала даже. Будто никогда ничего и не было. Дома тема моего таланта превратилось в табу, нарушенное лишь однажды, когда родители настояли на моём поступлении именно в литературный институт. По-моему, глупо до чрезвычайности! У них в мозгах произошло короткое замыкание, и другой стези они для меня так и не увидели. Впрочем, и я повода не давала «заподозрить» себя в каких-либо способностях – никаких склонностей не выказывала. Ну, окей, я несильно сопротивлялась! Решила, что, в крайнем случае, стану литературоведом. В поэзии. Кто сам писать не может, по традиции критикует, изучает и поучает других. Так всегда было и будет.

Бесстрастность прижилась на лице, и что любопытно: оказывается, не только характер, мысли и чувства управляют мимикой, но возможно и наоборот – мимика способна управлять кое-какими чувствами, хотя бы слегка. Со временем я заметила, что немного, но меняюсь: мои эмоциональность, непоседливость, вертлявость и склонность к гиперреакциям на внешние раздражители стали утихать, уменьшаться, уходить. Потихонечку я превращалась в весьма выдержанную девицу, по внешнему виду которой сложно понять, как она реагирует на то и сё. Близкие подруги даже пеняли мне порой: «Озвучивай, что думаешь, Белочка! А то непонятно, слышала ли ты вообще, что тебе сказали, или нет». Я всегда всё слышала, и внутри меня всё взрывалось, хотелось плакать или орать на кого-нибудь. Но никто и никогда не догадался бы, что мне больно.

Потери мои, горести.

Разговор с мамой про демона

Спустя несколько лет мы с мамой придём к новой степени откровенности и близости по той простой причине, что я стану взрослой женщиной, и маме не нужно будет делать поправку на дочкино малолетство, а из меня выветрится подростковый максимализм. Наступит время, и мы поговорим на равных.

Мы часто беседовали, рассевшись на разных концах дивана в одинаковых позах: облокотившись спиной на подушки, что прикрывали жёсткие подлокотники, руки закинута за голову, ноги крест-накрест на диване – длинном, большом, и маленькие мы с мамой прекрасно умещались, чуть касаясь друг друга ступнями. На спинке дивана ровнёхонько между нами царит Фимка, который либо спит, свернувшись в уютный клубочек, либо сидит в позе льва – хозяйина прайда, многозначительно щурясь и небрежно спустив вниз пушистый рыжий хвост, деля им спинку дивана точно пополам. Если уж мы с мамой начинали болтать, то это бывало надолго, засиживались за полночь. Фимка всегда пребывал на своём постоянном месте.

– Помню, поначалу мне очень не понравилась папина идея: научить тебя притворяться кем-то другим. Якобы для твоей безопасности. Я вообще решила тогда, что он бредит, потому что чушь же! А он объяснил, что «держат лицо» – это только начало, первый шаг, что потом, благодаря навыку, с тобой произойдёт нечто важное, что поможет жить в жестоком социуме. Но не успел...

– А я сама поняла. В конечном счёте, он имел в виду умение пригасить любые свои эмоции, делающие человека уязвимым, даже слабым. На всё нужно правильно реагировать

логически, не эмоционально, спокойно анализируя информацию. Эдакая теория и практика чистого разума с отключенной биохимической реакцией.

– Утопия! Невозможно.

– Очевидно, папа считал, что можно натренировать такую способность, как тренируют мышцы с помощью физкультуры.

– Но это противоречит самой твоей природе! И моей, и его, кстати. Сам-то таким не был.

– Значит, по себе и знал, что такое быть беззащитным. А с моей историей... или как у вас, медиков, говорят – с моим анамнезом... в общем, хотел меня научить защищаться. Отсюда – Демон.

– Мне не нравится слово Демон. Демон – это же зло.

– Так это моя придумка, не папина. Папа придумал медвежонка, у которого нет мимики.

– А ещё, помнится, вы упоминали Снежную Королеву – тоже тот ещё персонаж! Но Демон...

– Девочка выпендривалась, мам! Не надо так серьёзно к этому относиться.

– А я и не относилась. До тех пор, пока не увидела, что у тебя... у вас получилось. Сначала расстроилась, потом успокоилась. Много было разных чувств, но я знала главное: меня ты всё равно не обманешь! А насчёт других – возможно, папа был прав.

– Помнишь «Обыкновенную историю» Гончарова? Как там забавно призывали главного героя, чуть что впадавшего в экстаз: «Закрой клапан, Александр!» Когда прочитала лет в тринадцать, подумала: это про то же самое – держать эмоции в узде, всегда включать холодный рассудок.

– Ох, почаще бы окружающие его включали! Думаешь, я не устала от дури человеческой – эмоциональной или... медвежьей? Взять мою работу... А ну их! Сначала говорят, потом думают, сначала делают, потом думают...

– Или вообще не думают, даже потом.

Счастье моё – говорить с мамой.

Про подруг

Учёба в Литературном институте совсем не напрягала, но я так и не поняла, как можно учить на поэта или писателя, выдавать диплом, в котором указаны эти профессии. Абсурд же! Несмотря на то, что многие выдающиеся литераторы учились именно там, моё мнение не изменилось: не институт их сделал талантливыми, они лишь получили официальную бумагу для легитимации своего творчества – таковы правила «совка». Если вспомнить судьбу Бродского, то «бумажка» – диплом – была крайне важна. На знаменитом суде над поэтом слабоумная судья вопрошала: «А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? А вы учились этому, чтобы быть поэтом? Не пытались кончить ВУЗ, где готовят, где учат...»

Мама с папой свято верили или хотели верить, что окружение поцелованных в макушку дарований (какая наивность!), постоянная погружённость в тему творчества, пробудят мой впавший в кому дар. Мне же было всё равно, где убивать положенное для учёбы время.

Любимые школьные подруги поступили в нормальные институты. Наконец-то, расскажу о них. Марина и Люда. Я их называла «мои Малюдки».

– Малюдки, в кино идём?

Мои Малюдки были чемпионками: Марина по красоте, Люда по уму. С первого класса Марина по справедливости считалась нереальной красоткой, каких больше нет на свете, а Люда – самой умной девочкой в классе. В школе. Может быть, в мире. При этом не «ботаничка», а нормальная девчонка с весёлым «конским хвостом» из густых чёрных волос, ясноглазая и улыбчивая, обожающая рок, любящая под него «балдеть», покуривавшая лет с четырнадцати – нас с Маринкой пыталась втянуть, но мы не поддались. Людка с младших классов обожала

порассуждать про жизнь вообще, в целом, и интересовалась, как мне казалось, всеми науками сразу. Со временем её ум целиком и полностью оккупировала биология. До фанатизма! Ей стало интересно, из чего мы и всё сущее состоит, как это устроено, взаимодействует, работает. Потому химия тоже стала её любимым предметом.

– Вы обе тронутые! – смеялась Марина. – Одна с рождения реинкарнация Пушкина, другая мечтает поселиться в таблице Менделеева в качестве нового элемента «людика».

– Тогда уж «людия», – хихикала Люда.

– «Пре-людия», – вносила я свою лепту.

К тому времени я совсем перестала быть «Пушкиным», но девчонки ещё не знали, может, только догадывались. Настоящие друзья потому и настоящие, что не задают явно лишних вопросов, которые неприятны. И однажды без слов всё понимают сами.

У Люды был брат Женя, старше её на пять лет, проявивший себя яйцеголовым в математике. После восьмого класса он перешёл в знаменитую московскую математическую школу, потом поступил на Мехмат, получил красный диплом и... «Я отдала тебе, Америка-разлучница, того, кого люблю, храни его, храни!» Америка станет судьбой для всей их семьи, но случится это позже.

Легко было Марине ржать над нами, ведь она вообще могла смело смотреть свысока на кого угодно. С такой сногшибательной внешностью жизнь была обречена на успех, что стало очевидным уже в отрочестве, если не раньше. И бессильны трюизмы, вроде «не родись красивой», мол, ничего красота не гарантирует, напротив, может привести к беде. Может, и так бывает, если у красотки совсем нет мозгов. А у Марины они были. Внешне идеальная красавица типажа Джини Лоллобриджи (смесь отцовской таджикской крови и маминой украинской дала совершенно термоядерный результат) была неглупа, хотя куда ей до Люды. Впрочем, до Люды всем нам как до звёзд на самокате, что, скорее, Людкина проблема, не наша – трудно быть настолько умной даже среди не самых последних дур.

У Марины же хватало ума не так уж плохо учиться и, походя, сводить с ума всех мальчишек и юношей, которым не повезло хоть раз её увидеть. Да и взрослые дядьки теряли дар речи, глядя на девочку, будто выточенную из самого прекрасного материала превосходным художником-скульптором – специально для издевательства над сильной половиной человечества. Как дальше жить, узрев такое, недоступное, невозможное? Какими глазами на других женщин смотреть?

Мне часто думалось, что парни, знавшие Марину, потом всю жизнь тосковали о ней и расценивали любые свои отношения с дамами, как симулякр, «за неимением гербовой». А женщина мечты – она существует, реальна. Ты, неудачник-лох, видел её собственными глазами, был рядом, но она никогда-никогда не могла быть твоей и с тобой! Вот и живи с этим до старости, тоскуя о несбыточном. Может, несправедливо, чересчур, но так мне казалось.

Родись я мужчиной, то, встретив Марину, не смогла... то есть, не смог бы потом вообще смотреть ни на кого.

Когда мы подросли, Марина стала лениться учиться и, как говорится, съехала. Что её абсолютно не волновало, да и нас, её подруг, тоже. Хуже было другое: она вообще не хотела читать книг. Но мы с Людкой, во-первых, уже любили её такой, какая она есть, а во-вторых, Маринку здорово выручал природный ум, в иных случаях ловко подменяющий знания и эрудицию.

Ещё в детстве мне думалось, что, наверное, именно так и происходит с красивыми девочками: им катастрофически не хватает времени на занятия и чтение, ведь огромное количество часов они проводят перед зеркалом. Что естественно! На красоту хочется смотреть, ею надо любоваться. А уж когда ты понимаешь, что ты и есть красота, вообще оторваться невозможно! Размышляла я об этом, ища объяснения тому, что красотки слишком часто бывают... не шибко

интересные в разговоре и для дружбы. Но Марины это не касалось! Она была безусловной, любимой подругой.

Наша троица образовалась сразу в начале первого класса и сохранилась до самого окончания школы. За десять лет к нам то и дело прилеплялись одни, другие, классе в восьмом наша школьно-дворовая компания доходила аж до десяти человек вместе с мальчишками. Но мы, ядро, неразлучницы, так и оставались «три мушкетёра» – самыми близкими и в свой узкий круг мягко, но решительно никого не допускавшими.

Конечно, мы не расставались и вне школы – болтали по телефону, гуляли, бегали друг к другу в гости, благо наши дома находились рядом. Наш тройственный союз особенный, нам никто больше не был нужен.

Иногда случались коллективные походы с классом или с какими-нибудь мальчишками в кино, многолюдные игры во дворе. Большими компаниями справляли дни рождения. Но когда нас оставалось только трое, приходило особенное чувство доверия, покоя и то бесценное в дружбе, когда можно вместе молчать без всякой неловкости и не ощущать скуки.

...Одна устала в зеркало и с досадой разглядывает подлый прыщ на лбу, другая ушла в себя, угнездившись в диване, задумалась и наматывает на палец бахрому пледа, третья, глядя в окно, любит, опёршись руками о подоконник, падающим снегом, при этом что-то тихонько напевает, выделявая танцевальные па ногами в тёплых шерстяных носках. Зима, смеркается рано, в комнате заметно потемнело, на улице зажглись фонари. И свет от ближайшего падает через окно на пол скособоченным квадратом, делая наши лица слегка голубоватыми, а скучной обстановке маленькой комнаты придавая волшебную таинственность.

– Включите кто-нибудь люстру! – требует Люда, измучившись оценивать размеры бедствия в виде прыща, чтобы, наконец, решить – выдавить или подождать?

– Зачем? И так хорошо, – негромко отвечает Марина, глядя изумрудными глазами на улицу и приступая к чарльстону.

– Ага... И так хорошо, – отзываюсь я из глубины дивана, убаюканная теплом пледа, Мариным напевным шёпотом, подступающей зимней ночью.

– А мне ни фиги не видно! – сердится Люда.

– Малюдки! Заткнитесь, пожалуйста, – мирно прошу я подружек, чувствуя, что сейчас сладко задремлю.

У кого из нас дома это было – с зеркалом, с пледом и окном? Не помню. Сколько набралось похожих эпизодов за десять лет – тысячи. Мы часами торчали друг у друга в гостях, вместе делали уроки, наши родители любили и привечали каждую, и этой дружбе никогда не должен был прийти конец. По всем законам жизненного жанра.

Ах, как однажды мы смешно поссорились! Вернее, ссорилась я с Мариной, а Людка пыталась нас примирить. Случилось это классе в пятом, причина уморительная: мы возвращались из кино, посмотрев какой-то полнометражный японский мультфильм, заставивший нас переживать и даже всплакнуть («Принцесса подводного царства», что ли?). И я, находясь под впечатлением, в волнении и с горящими щеками, воскликнула:

– Как они здорово это делают! Почему наши так не умеют?

И вдруг Маринка, всхлипнув последний раз, откашлялась и патриотично заявила:

– У нас прекрасные мультики, я их очень люблю!

Ведь права была, но на меня нашло дурное. И уж нашло, так нашло!

– Какие? – прищурилась я. – Дурацкий волк с зайцем, да? Гыгыгы, как смешно, тупой волк бежит за придурочным зайцем!

Накрыло и Маринку.

– А я люблю «Ну, погоди!». И что? И ещё много люблю, например, пластилиновые, они смешные! Тебе же тоже нравятся!

– Пластилиновые? Да, нравятся. Как шуточки. А сделать, как японцы, не могут, не могут!

– Девчонки, да ладно вам! – Людка с тревогой поглядывала на нас – сощурившихся, подбоченившихся, готовых из-за фигни сцепиться.

– Тебе просто всё наше не нравится! – воскликнула Марина.

– Зато у тебя вкус отменный! Любить «Ну, погоди!» – это ж надо! – презрительно бросила я. Сейчас вспоминать забавно – ведь фыркнули друг на друга и пошли в разные стороны! А Людка осталась стоять на месте и взывать:

– Девки, вы сдурели совсем?

Но мы с Мариной, гордые и глупые, задрав носы, разошлись, обиженные и непонятые.

На следующий день в школе на первой же перемене мы трое, озабоченно сопя, собрались у подоконника в коридоре, где штормила детская толпа, из-за которой нашего сопения всё равно не было слышно. Мы исподлобья глядели друг на друга и с минуту молчали.

– Может, хватит, а? – сердито спросила Людка, с трудом скрывая лёгкую панику – а ну как мы сейчас опять сцепимся, а разойтись уже некуда – через пять минут звонок на урок! Но мне совершенно не хотелось ссориться, вот ни грамма! И вчерашний повод казался глупым, никчёмным, весь вечер накануне я ругала себя на чём свет за идиотское упрямство на ровном месте. Я было открыла рот, но Маринка опередила на долю секунды:

– Конечно, хватит! Я лично так не могу! – она сердито мотнула головой, глядя на меня гневно-печальными глазами.

– Я тоже! – выпалила я, досадуя, что не успела первой. После этого мы все трое, как по свистку, улыбнулись. Боже, какое облегчение!

Такие вот ссоры – ерундовые, малышковые. Когда подросли, вообще перестали цапаться по какому-либо поводу: мы прекрасно изучили друг друга, знали наши слабые места и болевые точки. Маринка, скажем деликатно, была очень в меру начитана, хотя умна и сообразительна. Мы с Людкой терпеливо ей рассказывали о книжках, объясняли, кого имеем в виду, если упоминали незнакомой Марине персонаж, и никогда не попрекали её нелюбовью к чтению.

Людка совершенно не интересовалась нарядами и прочими девчачьими глупостями, которые мы с Маринкой обожали! Но, щадя подругу, не ударялись при ней в разговоры о фасончиках, клипсах, лосинах и прочей вожденной красоте. Ну, скучно человеку про это, хотя Людка старательно делала вид, что ей интересно: пучила глаза, охала «Ой, правда! Ах, как красиво!». Откровенно при этом позёвывая. Ждала, когда нам надоест обсуждать стыренную у Марининой мамы «Бурду» с рисунками, моделями, выкройками. Со временем мы с Маринкой стали этим заниматься, когда Люды с нами не было.

И, наконец, моё слабое место, моя рана. Покинувший меня дар, забравший с собой яркие краски, челесту и ощущение гармонии этого мира. Девочки всё поняли и никогда в жизни не напоминали, не трогали, будто не помнили.

Бог знает, сколько времени мы провели друг у друга в гостях – треть школьной жизни – безусловно. У каждой из нас была своя собственная комнатка – маленькая, но своя. И даже тринадцать квадратных метров превращались в целую площадь Свободы и Независимости, стоило нам оказаться там и закрыть за собой дверь. Родители беспокоили нас только в случаях, если мы забывали следить за временем, и когда они предлагали перекусить.

Совсем маленькими, как и прочие дети, мы любили рассказывать друг другу «страшки», когда за окном становилось темно, и мы довольствовались лишь сумеречным светом с улицы. Залезали с ногами на кровать и шёпотом пугали друг друга «чёрным-чёрным домом в чёрном-пречёрном городе». В солнечные дни развлекались «смешилками», которые лучше всех получались у меня, или кривлялись и танцевали – в этом деле непревзойдённой была Марина, терпеливо учившая нас причудливым движениям, которые сама придумывала или подсматривала в телевизоре и великолепно копировала. К тому же у неё был хороший кассетник и много модных записей.

Став постарше, много трепались о жизни, обсуждали книги и кино, а также текущую политическую ситуацию – ну, время такое было! Прямо на нас, на времени взросления нашего поколения, столкнулись две эпохи, два мировоззрения: кондовое, вязкое – школьное, и «новое мышление» в страстных разговорах родителей, в неумолкающих радио и телевизоре, в кричащих, разоблачающих газетных статьях. Естественно, что у подростков произошёл небольшой взрыв в сознании. И, убеждена, это отнюдь не худшее, что могло случиться. Куда страшнее было бы жить по-прежнему, в топи застойного болота, с ускорением приближаясь к завтрашнему «дну».

А ведь не на другой планете, а рядом с нами живут граждане, всерьёз считающие, что в пятнадцать-шестнадцать лет невозможно ничего понимать в политике и оценивать происходящее в ней. Мол, разумом ещё не созрели, куда им! К сожалению, ум думающих подростков недооценивают. И ещё их умение слушать и прислушиваться: они слышат всё, а родители не понижают голоса, привыкнув, что рядом копошатся неразумные малыши. У «малышей» ушки на макушке, они внимают и запоминают, обмозговывают информацию и непременно делятся с такими же, как они – умными и думающими друзьями.

И начинается коллективный интеллектуальный штурм, а заодно и штурм в подростковых мозгах. Часто по-детски наивный, просто потому, что знаний не хватает. Но это дело наживное, а вот умение и навык думать, рассуждать, анализировать тренируются с детства и всячески поощряются разумными взрослыми. Либо не тренируются и не поощряются. Судя по тому, кто в большинстве вырастает даже не их самых тупых детей, мало кого заставляли шевелить извилинами, мало кого приучали к навыку самостоятельного мышления. Выдавать и воспринимать готовые сентенции, формулы, штампы куда проще и удобнее, а если это подаётся под соусом «мудрости поколений» и «заветов предков», то любые, даже самые идиотские, утверждения превращаются в непреложные догмы, такие же, как законы Ньютона, и бесспорные истины, как таблица умножения. Думать необязательно, даже вредно, правда? Заучивай, зазубривай и живи в соответствии, ибо законы же.

Любая религия настаивает – не думай! Любая тоталитарная идеология делает то же самое – не смей размышлять! Тебе дадут всё готовым, аккуратно упакованным, в виде желе, которое легко глотать и жевать не нужно. Потребляй с комфортом, не рассуждая.

Может, потому мы с Малюдками и сблизилась с самого начала: три девчонки любили задавать вопросы, интересовались, почему так, а не иначе, есть ли другие варианты и «с какой стати я должна верить?». Такими были с малолетства и не желали удовлетворяться «комплексным обедом» из упакованных догм.

Нам с Малюдками всегда было, что обсудить за плотно закрытой дверью и уж тем более во времена перестройки. Обсуждали прошлое страны и дообсуждались до решения не вступать в комсомол, «потому что стыдно!». И не вступили. Особого героизма в этом нет, времена изменились, стали вегетарианскими, потому особенно никто и не настаивал. Нудеть – нудили, но в меру. Приняли мы это решение в тринадцать лет, и начали тянуть со вступлением, отговариваясь разными причинами и поводами, так и дотянув до конца 80-х, когда уже даже самые зануды заткнулись и перестали нас доставать.

Наивные, мы не знали, что коммунистическая организация молодёжи с благословения компартии «перестроилась» и заинтересовалась совершенно другими проблемами – бизнесом, кооперативными делами, зарабатывая денежки и подготавливая платформу для будущего коммерческого рывка. Пользуясь, между прочим, средствами и поддержкой государства – не без дальнего прицела со стороны этого самого государства. Пирожок начинали потихонечку нарезать.

Мы-то думали, что ребята из комитетов комсомола и райкомов – долбоклюи идейные, убеждённые! «Как ты думаешь, она идейная или дура?» – наша любимая шутка из фильма «Дочки-матери», когда мы обсуждали комсомольских активисток и активистов. Но лишь в

самом низу иерархии, на уровне школьных классов, оставались идейные дурачки и дуручки – комсорги, которые вяло продолжали бороться за построение светлого будущего.

Всё равно мы сделали правильно, не вступив: это наше, может быть, первое взрослое решение, принятое сознательно. То, что комсомол вовсю «перестраивался» на рельсы коммерции, никак не обесценивает поступка трёх девочек, исходящих из убеждений своей совести.

Чаще всего наши посиделки проходили под музыку из магнитофона, в основном западную. Слушали вперемешку «Пинк Флойд» и «Модерн токинг», Стива Уандера и Джексона. Из нашего – «Аквариум», «Машину времени», «Технологию» и «Браво». Если шёл жаркий разговор, то музыка играла тихонечко, фоном. Но в какой-то момент Маринка могла воскликнуть:

– Ой, девчонки, обожаю эту вещь! – и вскакивала, выводя на большую громкость, например, уандеровскую «Ай джаст кол ту сэй...». Видели бы вы, как танцевала наша Эсмеральда! Гибкая, тонкая, она играла бёдрами и как-то по-особенному двигала плечами (сколько раз я пробовала повторить так же перед зеркалом – ни черта получалось!), заламывала руки, резко откидывая назад голову, устраивая ветер роскошной шевелюрой. Прикрытые глаза с длинными ресницами, закушенная от удовольствия нижняя губка, румянец на щеках. Вот она пригнулась, почти присела на одно колено, сообразно затихающей музыке, но на мощно зазвучавшем гитарном форте упруго вскочила, изогнувшись назад и раскинув руки – ну и тело, как она только не ломается!

– Маринка, тебе надо идти в танцевальную студию! – замороженно произносила Люда.

– Зачем? – смеялась Эсмеральда. – Разве я не умею танцевать и мне надо учиться?

– Тебе надо учить! – присоединялась я.

– Так вставайте, давайте я вас научу! – она хватала нас за руки и тянула к себе. Мы нехотя поднимались. Беспомощно переглядывались, понимая, какое жалкое зрелище из себя представляем рядом с Мариной. Слава богу, нас никто не видел.

И как же нам было хорошо!

Иногда случалось, что в беседе солировала Людка, а мы слушали, открыв рты: она рассказывала про то, что вычитала в научных журналах о генетике и её перспективах, и наше воображение разыгрывалось до фантастических придумок типа программирования пола ребёнка (как скоро это стало реальностью!), «выпиливания» дурных генов, типа глупости и уродства – Маринкина идея.

– И все, все люди на планете будут умные и прекрасные! – жмурилась от удовольствия она.

– Ген глупости? Про такое не читала, – озабоченно хмурилась Люда. – Боюсь, что глупость – это сложная совокупность разных ДНК...

– А некрасивость – очень субъективное понятие! – подхватывала я. – Люди никогда не договорятся о том, что красиво, а что нет.

– Спорно, – замечала Люда. – Если всем показывать в качестве примера Маринку, то дискуссий не предвидится.

Марина кокетливо складывала губки бантиком, но я подливала дёгтя:

– Если все будут, как Марина, то такая внешность обесценится, красивым назовут что-то другое.

– Тогда нет! – вскрикивала Марина, сложив руки крест-накрест, будто бы прикрывая своё тело. – Не дам себя... это... что там со мной захотят сделать? – уточнила она у Людки.

– Ну, например, клонировать.

– Вот! Не позволю клонировать мою оригинальность! Любуйтесь в единственном экземпляре!

В голове у нас образовалась причудливая мешанина из генов, клонирования, ДНК и прочего – интересная, захватывающая мешанина.

К счастью, мои родители всегда были большие книгочеи и всеми способами – через знакомых ближних и дальних, через маминых пациентов – доставали-покупали книги и литературные журналы, поэтому дома у нас образовалась неплохая библиотека, которая постоянно пополнялась. Часто я рассказывала девчонкам про прочитанное – когда в двух словах, когда подробно. Иногда Люда меня останавливала:

– Стоп, дальше не надо, это я хочу читать! Дашь?

Ни родители, ни я никогда не отказывали в таких просьбах. Наверное, потому что у нас в доме бывали только порядочные люди – никто ни разу ничего «не заиграл».

Иногда Людка махала рукой:

– Давай, рассказывай до конца эту фигню.

Так я подробно пересказала содержание романов Памелы Джонсон, а вот Франсуазу Саган обе подруги потребовали дать почитать. Людка ещё захотела Айрис Мэрдок. Наверное, я неплохо рассказывала. Или книги настолько хорошие, что даже мой пересказ их не портил.

Помню, как мы, прочитав по очереди и обрыдавшись над журнальной публикацией «Ночевала тучка золотая» Приставкина, тихо обсуждали ужас из советской истории, который от нас скрывали и за который безумно стыдно. Мы сидели у меня в комнате без всякой музыки, печальные и подавленные, как-то резко повзрослев, что ли.

После того, как сходили в кино на фильм «Асса», Маринка быстро где-то достала кассету со всеми песнями из фильма. Не сказать, чтобы мы пришли в восторг от самого фильма, сюжет показался надуманным и слишком выпендрёжным, а вот музыка...

Собравшись у Маринки, включаем прекрасную Агузарову, поющую хрустальным голосом «Недавно гостила в чудесной стране...» и не можем не подпевать! Маринка подпевает чисто и звонко, сливаясь голосом с певицей, я – совсем тихонько, но точно, а Людка чуть хрипловато и не всегда попадая в ноты. На втором куплете Марина не выдерживает и срывается танцевать. И мы с Людой любимся ею, одновременно наслаждаясь песней.

Мальчики... Говорили ли мы о мальчиках? Наверняка, да, а как иначе? Но почему-то в памяти не осталось болтовни об этом, только в связи с чем-то конкретным, к примеру, с дискуссией о фасонах юбок:

– Парням нравится, когда оно вот так!

– Да плевать, что им нравится!

– Ничего не плевать! Твой Димуля оценит, вот увидишь!

– Что-о-о?

– Какой Димуля?

– Да Людка с ним на перемене переглядывается, он из восьмого класса.

– Ого! Глазастая ты, Маринка, завтра мне покажешь!

– Дуры вы обе, дуры!

Помню эмоциональный разговор после просмотра фильма «Десять негрятят». Каким-то чудным образом тема перескочила на «стоящих парней, которые перевелись». Дело было так: разбирали персонажи фильма, не нашли ни одного достойного мужчины (ещё бы!), «логически» перекинули мост в реальную жизнь – все мужики козлы, а, значит, парней хороших вообще не бывает. А ведь если связывать свою жизнь с кем-то, если любить, то он должен быть, как минимум... ну... ну...

– Андрей Болконский, – тихонько сказала я.

– Эдмон Дантес! – гордо вздёрнула подбородок Марина, и мы с ней уставились на Люду.

Та подумала, подумала, нахмурив брови, и уверенно произнесла:

– Альберт Эйнштейн.

– Единственный реальный человек, – заметила я. – А нас с Маринкой в сказку понесло.

– Вы романтичные барышни, а я чистый, занудливый практик, – Люда поправила на носу несуществующие очки.

За Мариной класса с четвёртого таскал портфель какой-нибудь мальчик – или из нашего класса, или из параллельного, а то и из старших. Мальчики последовательно менялись, иногда возникали длительные перерывы, говорившие о том, что сейчас быть верным пажом чья-то очередь из Маринино двора. Когда мы учились в девятом классе, за Мариной всюду ухлёстывали студенты, правда, ничего серьёзного так и не случилось.

– Не Эдмон, – в очередной раз вздыхала прелестница.

У Люды впервые что-то такое случилось с тем самым Димой из восьмого (мы учились в седьмом). Они дружили довольно долго, до конца школы, но потом я узнала, что лишь на выпускном впервые поцеловались. И всё тут же закончилось.

– Мне ужасно не понравилось, – смущённо призналась Людка.

А я... Но обо мне и моих «мальчиках» будет рассказ. Попозже.

Ух, какая полемика развернулась у нас из-за фильма «Интердевочка», от сюжета которого мы сначала оцепенели! Спорили, махали руками! Самое смешное, что главным вопросом, на котором мы, три подружки, столкнулись лбами, оказался такой: на что можно пойти, чтобы уехать из СССР и жить там, где хочется?

– Ну, не на проституцию же?

– Можно подумать, всех проституток в жёны берут, ага, ага!

– Да, проблема...

– Только эта? А вообще заниматься такой пакостью – ничо?

– Ну, а как по-другому?

– Поехать туристом и сбежать!

– А тут останутся в заложниках родители. Просто супер! Эгоизм высшей марки.

– Тогда только замуж за иностранца! Но как внедриться туда, где они водятся? Ааа, то-то же!

– Выучиться на классного специалиста, стать суперпрофи, и тебя пригласят работать.

– Класс! И когда это произойдёт? Сколько тебе исполнится годочков к тому времени?

– Так что выходит – только один способ и то ненадёжный?

– Тьфу, я лучше в СССР сдохну!

– А я хочу мир посмотреть. Неужели никогда не увижу ни Париж, ни Лондон... – повесила нос Маринка. Мы разделяли её тоску. Но время стремительно менялось, и в самом воздухе всё явственнее ощущалась уверенность, что нашу клетку отопрут.

Всё ты увидишь, Маринка! И мы тоже. Но нельзя продавать ни душу, ни тело ни за какие подарки и возможности! Для меня тот фильм лишь подтвердил мои глубокие убеждения. Ужасной была судьба героини, трагичной с того самого момента, когда она сделала роковой выбор. И, казалось бы, обсуждать нечего, говорить не о чем, мораль сей басни очевидна! Но подрастающим девушкам необходимо было порассуждать на эту тему потому, что мы не желали заглаживать готовую сентенцию о том, что такое хорошо и что такое плохо, рвались сами понять, осознать, осмыслить, почему это плохо, и заодно ужаснуться, что же такое творится вокруг нас, что приводит к самому существованию подобной дичайшей дилеммы.

Окончив школу, мы разбрелись по разным вузам. Я по предначертанной тропе побрела в Литературный институт, Людка легко поступила на биофак МГУ, а Марина поступила во все театральные институты столицы плюс ВГИК, что совершенно никого не удивило. Думаю, дело было так: стоило ей лишь зайти в экзаменационный зал, где заседала комиссия, как тут же принималось моментальное и единогласное решение о зачислении. Потому что если не брать такой красоты девушек в артистки, то кого же тогда?

Маринка – умница, интересная девчонка, но «своей колеи» она до семнадцати лет не успела найти. Так бывает, мне ли не знать? Ведь я, потеряв главное, что было моей сутью с момента, как себя помню, так и не нашла замены, не поняла, кем могу, а, главное, хочу стать. Поэтому послушно пошла туда, куда меня направили.

Марина в точности так же не успела ничего про себя понять, кроме того, что природа одарила её совершенно необычайной внешностью. И что делать с этим подарком? Ведь кроме понимания уникальности собственной внешности нет ни малейшей ясности, кто она есть. А решение принимать надо – и всё тут!

Вот и выходило, что путь один – в артистки, и всем всё понятно, никто не удивляется и, главное, везде тут же принимают, не очень-то оценивая, как девушка читает басню-стих-прозу. Вряд ли Марина делала это блестяще – она никогда не выделялась особым дарованием на уроках литературы, когда читала у доски наизусть. Как все, не лучше и не хуже. Голос приятный, дикция чёткая.

В итоге, Маринке самой пришлось выбирать, куда же идти учиться, какой вариант предпочесть.

– ГИТИС! ГИТИС! – бушевали её родители-инженеры, которым знакомые сказали, что это лучший театральный ВУЗ.

– Только в Щепкинском готовят настоящих артистов! – с чего-то взяла мама Люды – преподаватель в пединституте.

– Я слышала прекрасные отзывы о Щукинском училище, – неожиданно проявила знание моя мама. – Одна девочка с моего участка год назад поступила туда, я встретила недавно её маму, она говорит, что это лучшая театральная школа в стране.

Понятно, да? У всех чьё-то авторитетное мнение и бесценная информация.

Но Маринка решила по-своему: ВГИК.

– Если уж торговать лицом, то крупным планом, – резонно рассудила она. – В кино шансов чего-то добиться больше в разы.

Говорю ж – умная и практичная не по годам. Не было у неё никакой любви к сцене, к театральным подмосткам и актёрству, поэтому расчёт верный, посыл правильный: торговать лицом, чтобы чего-то добиться. Тогда ещё в наших диких землях не расцвела эпоха моделей, всего года через три-четыре Маринкина карьера была бы predetermined, она уже имела бы контракты с престижными домами моды и фирмами, причём, зарубежными, и ей вообще не понадобился бы никакой ВГИК.

Довольно быстро менялась реальность вокруг нас, времена наступали забавные – по стране прошла волна конкурсов красоты, и все в один голос твердили Маринке, что она – мисс Вселенная, никак не меньше. Но для прокатившихся по умирающему Советскому Союзу конкурсов Марина наоборот опоздала родиться: семнадцать ей исполнилось только в самом конце девяностого, не успела в «первую волну», иначе всех бы уделала, без сомнений. Впрочем, её родители, советские интеллигенты, и мысли не допускали ни о каких состязаниях в купальниках. Они и ВГИК-то приняли со скрипом – ведь там учат не для театра, который высокое искусство, а для кино, которое пониже. Но смирились. Лучше пусть будет этот институт, чем вообще никакого.

Прекрасные мои подруги!

Восстаём из пепла

Началась совсем-совсем другая жизнь: без папы, с институтом, без ежедневных встреч с любимыми подругами, с упавшей духом мамой. Месяц она отлёживалась, почти полностью поседела, как-то сгорбилась, похудела и будто стала ниже ростом. И это в сорок лет! Мама принимала кучу сердечных препаратов, столько же, сколько бабуля с дедулей в последние годы.

Мне всерьёз пришлось подумывать, что придётся бросить учёбу и идти работать – не сказать, чтобы у нас было много сбережений. Я подсчитала, что при самом скромном и береж-

ливом подходе нам троим, включая Фиму, если мама сляжет, хватит отложенного максимум на год. Какая может быть учёба?

Но спустя месяц советский человек в маме победил:

– Надо продолжать жить и делать своё дело, – однажды утром она решительно стала собираться на работу. – Мне ещё тебя на ноги поставить нужно.

– Ну, здарсьте! – я готовила нам с ней завтрак на кухне, куда она пришла уже умытая, причёсанная, в домашнем халате. В тот день мне нужно было ко второй паре, поэтому я чуть задержалась дома. – Если ты будешь так говорить, то я прям сегодня переведусь на заочку, а завтра пойду работать.

– Ещё чего! – возмутилась мама, сев за стол и взяв бутерброд с сыром, чему я ужасно обрадовалась, ведь после похорон она по утрам ничего кроме кофе, который ей вреден, в рот не брала – ни маковой росинки! И вообще плохо ела, одни кости остались от человека. – Не морочь голову, тебе надо учиться, а мне обеспечить нас. Мне до пенсии, между прочим, целых пятнадцать лет, я ещё ого-го.

Знала бы мама, что произойдёт в стране довольно скоро. Впрочем, для нас, в итоге, всё окажется не так уж драматично, мама лишь успеет немного испугаться...

Мама покрасила седые волосы в каштановый цвет, по утрам начала делать гимнастику для осанки и купила хулахуп. Можно было выдохнуть – она выплыла из отчаяния.

Пока я, не пойми зачем, балбесничала в Литературном институте, мама занималась настоящим делом – лечила детей.

В вузе у меня появилась компания – сплошь гении, «золотые перья», интеллектуальная элита. Иронизирую, конечно. Впрочем, некоторые ребята про себя именно так и думали, без всякой иронии. Среди них я была не будущий, а «бывший гений». Когда меня узнавали, вспоминали, то непременно восхищались, цокали языками... и это безумно раздражало, нервировало и расстраивало! Поэтому лицо Демона (Снежной королевы, медвежонка) стало моей постоянной маской. Папа был прав – вопрос выживания.

В институте произошла одна очень важная для меня вещь. Или две, раз речь о двух людях? В общем, двое из нашего потока постепенно сделались для меня такими же важными, как Малюдки. Хотя довольно долго я искренне противилась этому: как так? Десять лет самой крепкой, безусловной, школьной дружбы, родившейся из почти инстинктивного детского выбора «свой-чужой», десять лет удивительной близости! И какие-то жалкие два-три месяца. Неужто сопоставимо? Поначалу сопротивлялась, глупо себя вела, избегая и убегая: предпочитала не задерживаться с новыми друзьями и торопилась домой, чтобы скорее поговорить с Малюдками по телефону, а ещё лучше встретиться и погулять.

Первое время – осенью, зимой, мы нередко встречали с Мариной и Людой. Новый девяносто первый год встречали в родной компании – девчонки пришли к нам с мамой, и мы душевно посидели за вкусным столом и перед телевизором до часу ночи. А потом наша троица пошла шляться по своему району, заходя по пути к бывшим одноклассникам. Звонили в двери, нам открывали, кричали «ура!», обнимались-целовались, желали друг другу... Некоторых из ребят не было дома, праздновали где-то ещё. Тогда нам радовались их родители, целуя нас в щёчки и ностальгически хлюпая носами.

– Девочки, дорогие! Какие взрослые! Спасибо, что зашли, красавицы!

Мы будто на несколько часов забежали в гости к детству. В самый последний раз. Больше такого не случилось ни разу.

– Новый год – семейный праздник, – ещё в середине декабря заявила я опешившим сокурсникам, строившим планы на улётную вечеринку в новогоднюю ночь (где, сколько с кого, продукты, вино-шампанское), тут я со своим занудством и вылезла.

– Значит, ты – пас?

– Угу.

Семьёй для меня были в том числе Малюдки. Из строивших планы институтских ребят, как минимум, двое скисли. Особенно парень... Скоро расскажу.

Но время привычно делало своё дело, упихивая прошлое в самое правильное для него место – в прошлое, заставляя принимать тот факт, что его не удержать, как ни цепляйся. Наши встречи с Малюдками становились всё реже, неизменным оставался лишь телефонный трёт, да и то не по полтора часа, как прежде. Меня это огорчало, ведь девчонки были не просто любимыми подружками, но и дорогой приметой прошлой жизни, в которой был папа. В которой когда-то была приятная щекотка, кайф сочинения стихов, яркий, звучащий скрипками и челестой мир. Я ностальгировала по прошлому, но что поделаешь – не все обязаны разделять мои чувства. Некоторые умеют жить настоящим, и это нормально. Или будущим, что, наверное, ещё правильнее. Тем более в восемнадцать лет.

Довольно скоро мне доведётся узнать, что в отношении Людки я ошибалась. Из нас троих, оказывается, именно она оказалась преданнее всех нашей дружбе. Я же была ещё слишком глупой, чтобы считывать скрытые смыслы в нюансах поведения даже близких людей. Потом поняла, что о многом можно было догадаться. Если бы молодость знала... Людка всегда первой прибегала в гости, первой звонила и мне, и Марине, меньше нас общалась с другими девчонками, старательно гасила намечавшиеся распри. Однажды даже всплакнула, когда настало лето, и мы все собирались разъехаться до сентября по дачам-морям. Всё очевидно... для взрослого человека.

Однажды у нас с Людкой состоится «исторический» разговор, когда я узнаю, как было на самом деле, но до него много чего случится. До того разговора нам ещё нужно дойти, дожить, дорасти.

Меня печалило, что у девчонок началась новая, бурная, другая жизнь, и они забывают наше общее детство, была абсолютно убеждена, что Людка в университете всюю общается с великими умниками, легко находит с ними общий язык и ей хорошо и комфортно. А Людка тем временем скучала по нам с Маринкой и грустила, потому что у нас началась бурная другая жизнь, и мы всё постепенно забываем.

Потерянные детские дружбы, о которых жалеешь по-настоящему спустя много лет, когда уже корабли разошлись слишком далеко друг от друга – не догнать, не докричаться. Со многими такое случалось. Кто-то по глупой юности не ценил, не дорожил, не берёт детскую дружбу, кто-то постеснялся навязываться – так выразились бы взрослые люди. Юные использовали слово «приставать» – не хотели приставать: а вдруг я не нужен/не нужна? И гордо молчали, задрав самолюбивый нос и вздёрнув подбородок, чтобы не дать ходу слезам.

Жизнь не умеет стоять на месте, как бы мы ни молили время утишить свой бег – «чуть помедленнее, кони!». Дудки! Она, жизнь, ни на секунду не замрёт, и как вредный котиче (знаю по всем своим Фимкам) специально ускорит шаг решительно и бесповоротно, хоть ты оборись: «Кис-кис-кис, иди ко мне, лапушка, а что я тебе дам, сволочь такая!». Самое прекрасное мгновение удивительно быстро превращается в прошлое, как бы ни хотелось его продлить, растянуть.

Зато это же быстротекущее время, будто выплачивая компенсацию, дарит новые встречи, события и впечатления: для меня нашлось утешение по имени Тимур. Тимур Кондратьев. Запомните эту фамилию – она станет моей на долгие годы. Я, наконец, поменяю паспорт и изменю отчую, девичью фамилию, упрямо тянувшую за собой ностальгические, но всё же грустные воспоминания, а, главное, дарившую всему свету информацию обо мне – как раз то, что хотелось скрыть.

И ещё один человек...

Нерусская Поля

Подруга. Настоящая, любимая. Произошло, как мне казалось, невероятное: ведь по моим тогдашним меркам необходимо, как минимум, общее детство и годы общения, чтобы до такой степени сблизиться. В этом я была стопроцентно убеждена, любя навеки прописанных в сердце Малюдок. Тогда ещё я не знала, что в молодости и дружбы, и любви вспыхивают легко, не то, что в зрелости, и самых значимых людей на всю оставшуюся жизнь мы приобретаем именно в юную пору. За редким исключением. Когда нам за тридцать, создать новые отношения, даже просто приятельские – весьма непростая задача: ну всё не так в человеке и раздражает. Кандидат должен, просто обязан соответствовать миллиону требований, иначе мы не откроем ему ни сердце, ни объятия. Так природа захотела: душа нараспашку и готова к новым «дружбам на века» лишь в молодости.

С Полиной Ивашкевич всё получилось вопреки моим убеждениям в том, как сложно со мной подружиться, насколько проблематично завоевать мою симпатию. Мне было всего семнадцать! И не сложно, и возможно, что нормально.

Поначалу Полина оказалась «в свите» Тимура, но не влюблённой в него дурочкой, а в качестве лидера номер два. Пожалуй, за «номер два» она бы меня пришибла, ведь Поля обожала быть в центре внимания, главной фигурой.

Она «варилась» в Тимуровской команде из любви к компаниям и лидерству. Полина терпеть не могла одиночества, плохо его переносила, а в коллективе была и заметна, и незаменима. Активная, громогласная, весёлая, остроумная и прекрасный организатор вечеринок. Своего рода талант, между прочим! И ещё у неё была недоступная моему пониманию страсть к шумной коллективности. Показалось странным, что из всех девчонок Ивашкевич выделила и выбрала меня. Или вслед за Тимуром, заметив его увлечение, заинтересовалась моей персоной? Похоже на то.

Впервые я разглядела её в конце сентября, когда состоялся первый культпоход нашей наметившейся компании в кинотеатр «Октябрь», что на Калининском проспекте (нынче Новом Арбате), на официальную премьеру в СССР «Унесённых ветром». К тому времени мы прочитали книгу и посмотрели фильм на видео, но сходить всей ватагой на премьеру казалось особенным событием.

С папиной смерти прошло совсем мало времени, и я ещё была никакая. Никуда идти не собиралась. Даже не помню, какая добрая душа меня уговорила. Мне сочувствовали, зная о несчастье: не получалось скрыть горе даже с помощью навыка «держать лицо» – слишком сильна оказалась боль. Но это был первый и последний раз, когда окружающие видели мою слабость.

Словом, сокурсники проявили участие и уговорили пойти в кино. Чья-то мама организовала билеты, кажется, Тимурина, но билетов удалось достать немного, поэтому компания оказалась небольшой, человек восемь-десять, по именам я ещё многих не запомнила. Пожалуй, только Тимура и парочку девочек. Не Полину.

Стены кинотеатра пестрели старыми, из тех ещё лет, и новыми, современными афишами фильма, огромными портретами Вивьен Ли и Кларка Гейбла. Мы шумной группой ошивались в фойе, ждали начала сеанса. Рядом со мной маячил Тимур, но пока я не вполне включилась в реальность и не воспринимала всерьёз его интереса. Полину же заметила из-за маленького происшествия.

К нам подошла молодая женщина с высокой копной мелких кудряшек, в очках в тонюсенькой оправе, в элегантных брючках, с сумкой из грубой ткани а-ля хиппи, с диктофоном и микрофоном. И – о ужас! – обратилась к нам по-английски: она де с такой-то канадской радиостанции и хотела бы, чтобы мы сказали несколько слов о романе Маргарет Митчелл, ведь западным слушателям безумно интересно, как советская молодёжь его воспринимает. Вопрос-то мы почти все поняли, а вот ответить...

– Надо по-английски? – спросил кто-то робко.

– Ес, оф коз (да, конечно)! – широко улыбнулась журналистка.

– Ой.

Повисла неловкая пауза. И вдруг...

– Ес, я кэн тел ю эбаут ит (да, я могу рассказать вам об этом)! – уверенный и звонкий голос, безупречное произношение – это кто ж среди нас такой? Я с интересом смотрела на высокую девушку в обалденных обтягивающих джинсах и джинсовой женской рубашке. Выразительные серые глаза, яркие губы, русая коса, картинно лежащая на высокой груди. Тогда я впервые как следует разглядела Полю и запоздало восхитилась.

– О! – обрадовалась канадка. – Летс степ эсайд, плиз!

Они отошли в уголок и довольно долго разговаривали. Мы во все глаза наблюдали, как наша джинсовая однокурсница бегло болтает и эмоционально размахивает руками, а журналистка, держа перед её лицом микрофон, слушает, кивает, изредка вставляя короткие реплики.

– Кто это? – спросила я у наших.

– Да Полинка же Ивашкевич! Во даёт!

Когда разругавшаяся Поля вернулась, нас разрывало любопытство:

– И что-что-что ты ей сказала?

– Ну... сказала, что идеи свободы и независимости нынче овладели умами в нашей стране, а уж тем более сознанием молодёжи. Поэтому для нас книга безумно интересная и полезная. А кино – вообще отпад.

– И это всё на английском? Как? Спецшкола?

– И спецшкола, – кивнула Ивашкевич, – и родители всячески поощряли, даже заставляли читать книги в оригинале – на английском. К примеру, Агату Кристи. Вот и прочитала всю. И не только Кристи...

Здорово, правда? Улыбаясь, я смотрела на Полю, поймавшую мой взгляд и очень доброжелательно и открыто улыбнувшуюся в ответ. Я показала ей большой палец. Она изобразила театральный поклон.

Когда я перестала морозиться в своём горе, мы с Полиной очень сблизились. Если припомнить, то, выходит, что примерно в один и тот же короткий период я ответила и на чувства Тимура, и на желание Ивашкевич подружиться.

Как ни странно, фильм на большом экране оказался в точности таким же, каким мы его видели на видеке.

О, видео! Отдельная тема в истории нашей молодости. У немногих избранных к тому времени появились железные волшебные ящички из Японии, с помощью которых на нас обрушилось всё западное кино за долгие десятилетия. Видеоэпоха отворила не жалкую форточку, а окно полностью: вихрь, с грохотом роняя цветы с подоконника и разбивая вазы, распахнул створки, сорвал пыльные и выцветшие от старости занавески, влетев в наш обустроенный, невольно «добровольный» от всего мира карантин. Столько свежего воздуха сразу, аж голова кружилась!

Поначалу видеоманитоны были мало кому доступны, но, к примеру, у Людки это счастье появилось в начале девяностого года – дядя из-за границы привёз. У Тимура намного раньше, что естественно при номенклатурном положении его родителей. Поэтому его однокурсникам, то есть, нам, было, где смотреть западные фильмы, в том числе запрещённые в Союзе по совершенно идиотским резонам.

Видеосалоны мы дружно игнорировали, они у нас считались «фу». Во-первых, слишком часто там крутили дешёвку, неинтересную для нас. Свой любимый вывод о «тлетворном влиянии их кино на наши умы» ненавистники Запада, похоже, сделали, изучив репертуар как раз видеосалонов. Бесспорно, гадких фильмов хлынуло предостаточно, но они предназначались для определённой аудитории, а потому ещё как были востребованы. Так происходит везде, во всём мире, тоже мне открытие! Каждой части общества, каждой страте – своё кино. Свои

книги, театры и прочие культурные потребности. Не надо делать вид, что это не так, целый век лицемерили, надоело!

А во-вторых, смотреть в зале, пусть даже небольшом, кино на видеомэгнитофоне среди чужих случайных людей казалось абсурдом! Нас, бывало, набивалось в чью-нибудь гостиную человек пятнадцать на просмотр, но все свои, приятели-однокурсники, и денег за это хозяин, конечно же, не брал.

Несколько раз мы приходили «на видак» к Полине в роскошную по тем временам квартиру: хоть и небольшие, смежные, но целых четыре комнаты на троих! У мамы-папы спальня, у Поли собственная комнатка, родительский кабинет и гостиная. Просто американский жилищный разврат, как в кино! И обставлена хата была совсем не по-советски – антиквариатом. Впервые я видела такое, обалдевала и застывала перед каждым предметом на полчаса: в этом доме можно подолгу зависать рядом с любой вещью, разглядывая её со всех сторон, и не соскучишься. Будучи не шибко в теме, я всё же догадывалась, что мебель куплена в комиссионках и за большие деньги. Как говорится, «ни словечка в простоте», никаких привычных стенок и сервантов, вместо них витиевато резные буфеты на гнутых ножках и комоды красного дерева, под стать им столы и тумбочки, стулья как из фильма по Ильфу и Петрову, мягкая мебель, дико неудобная, но фантастически красивая! Музей.

И во всём этом великолепии царила, периодически обходя владения, роскошная собака колли. На вид гордычка с царственной осанкой, будто она и есть кинозвезда, что сыграла главную роль в сериале «Лесси», а по характеру – ласковый котёнок. Её можно было тискать, обнимать, целовать, тормошить, сколько влезет – она только что не мурлыкала и доверчиво тыкалась мокрым носом в ладони. Иногда по вечерам, когда я бывала у Поли в гостях, мы вместе выгуливали собаку, причём, в любую погоду-непогоду – а что нам-то, молодым! Порой гуляли с колли всей командой, пришедшей «на видак», в перерывах между просмотрами фильмов. Зверушка особенно радовалась большой компании, носилась, резвилась, прыгала вместе с нами – полными энергией ничуть не меньше, чем молодая собачка.

В обители прекрасной старины абсолютно чуждо смотрелась японская аудио и видеотехника. Но что делать? Пришлось совмещать несовместимое, и прямо под картиной в тяжёлой раме с изображением томящихся на массивном столе где-то в семнадцатом веке фруктов расположились толстый чёрный ящик (телевизор), а на нём прямоугольная серебристая металлическая коробка (видак). Всё – фирма!

Углу, слева от окна, обрамлённого умопомрачительной красоты занавесками с ажурным ламбрекеном, на изящном столике, повёрнутом углом, высилась глыба музыкального центра: двухкассетник, радио и проигрыватель виниловых пластинок. Внизу, внутри столика, за зеркальными дверцами жили несметные богатства: иностранные диски, куча аудиокассет и с самой современной музыкой, и с классикой, а отдельный отсек занимали видеокассеты, которые мы все, разумеется, посмотрели и не по разу. Ещё бы! Это же были «Кто-то пролетел над гнездом кукушки», «Пинк Флойд. Стена», фильмы Феллини и Крамера, «Кабаре», а также «Назад в будущее», «Однажды в Америке» и «Кошмар на улице Вязов».

Взрослым владельцам видаков некоторое время пришлось героически терпеть налёты шумных компаний. Однако всё естественным образом постепенно закончилось, когда у всех в домах появились быстро дешевеющие и доступные видеомэгнитофоны или приставки – кто что мог себе позволить. Мы с Тимуром, когда поженились (да-да!), довольно скоро приобрели приставку, и коллективные просмотры переместились в наш дом. А потом и это прекратилось – люди предпочитали смотреть кино у себя. Неуклонно росло благосостояние российских граждан (шутка). Хотя... почему нет? Ведь в итоге абсолютно все «овидачились», даже уборщица, приходящая к Тимуриным родителям дважды в неделю.

Возвращаясь к рассказу о Полине – сейчас речь о ней. Итак, Полина. Она выросла в семье экстра-супер переводчиков, всегда востребованных и при хорошей работе. Папа в совер-

шенстве знал английский, а мама английский и французский. Они переводили сложные технические доклады и статьи для специалистов, «баловались» переводами художественной литературы, в новые времена именно они писали лучшие тексты для озвучки западных фильмов, лавиной поваливших в Союз. Поскольку их переводы были превосходными, оба стали нарасхват у шарашек, что тоннами везли в страну кассеты.

Полинины предки часто (для советских людей) выезжали за границу, поэтому у них в доме японская техника появилась даже раньше, чем у Тимура. А как они одевались! Только в западное, только в фирменное, со вкусом и элегантно.

Если такие же динозавры, как я, вдруг подзабыли, а юные динозаврики не знали, расскажу, напомним на всякий случай, что с начала перестройки мы все хоть немного, да приоделись, благодаря кооператорам, намастырившимся кое-как шить одежду, «варить» джинсы, штамповать босоножки-мыльницы. И ещё благодаря «челнокам», сновавшим туда-сюда по маршруту СССР-Китай-СССР с безразмерными клетчатыми сумками. Поэтому первоначальный голод на шмотки довольно быстро удовлетворили: мы стали чувствовать себя «белыми людьми», одетыми не в страшные, как роба заключённого, изделия фабрики «Большевичка», а всё-таки во что-то модное, яркое, пусть недолговечное и часто сделанное на коленке.

Но стоило оказаться во всём «модном» рядом с Полиной и её родителями, как жаркий стыд обжигал щёки: ёлки-палки, что на мне за тряпье, выкрашенное в ведре? Ведь уже после первой стирки, даже самой нежной, становилось очевидным, почему у маечки такой яркий цвет: она делалась неровно пятнистой и впредь годилась лишь на то, чтобы ею мыть пол. Если, конечно, не страшно чуток подкрасить паркетины в нежно розовый цвет. А что за гадостный материал! И разве на мне джинсы? Это похоже на джинсы, но тогда какого чёрта коленки провисли, как у треников?

Полина и её модные, подтянутые, молодежавые родители выглядели, благодаря «прикидам», как лорды какие-то. Семья голубых кровей, из бывших-с. А мы, прочие – чернавки, гопота из крепостных.

Когда Поля и я стали близкими подругами, она пыталась дарить мне какие-то свои почти совсем ненюшеные вещи, но наши размеры трагически не совпадали: Полина статная, фигуристая, высокая, с довольно большой грудью... а я-то... Тощая, плоская да и рост ниже среднего. Не получалось моей тушке вписаться в её шмотки ну никак. Ушивать, перешивать? Фирменное, изумительное? Жалко же! Но подруга упрямо хотела исправить мой кооперативно-рыночный вид. В скором времени проблема разрешилась так: под руководством Полины я научилась покупать хорошие вещи в правильных местах – хотя бы одну шмотку в месяц, пусть дорогую, но достойную, а не с рыночного лотка. Именно Поля помогла развить мой вкус, который у меня, как у большинства из нас, находился в эмбриональном состоянии. А с чего бы он развивался в советских реалиях?

Когда впервые я оказалась у Полины дома, то в её светёлке мне бросился в глаза самодельный плакат, сделанный из большого листа формата А3, с длинным текстом, написанным мелким, аккуратным и красивым почерком Ивашкевич. С ужасом подумала, что это какие-нибудь доморощенные стихи, подошла ближе и оказалось...

Фэри: ...За весь день никто не сказал мне, что любит меня.

Миссис Сэвидж: Нет, Фэри, мы все вам это говорим.

Фэри: Нет, никто не говорил. Я до сих пор жду.

Миссис Сэвидж: За обедом я слышала, как Флоренс вам это сказала: «Не ешьте слишком торопливо, Фэри.»

Фэри: И этим она хотела сказать, что любит меня?

Миссис Сэвидж: Ну, конечно! Всегда это подразумевается, когда, например, говорят: «Возьмите зонт, на улице дождь», или «Возвращайтесь поскорее», или еще «будьте осторожны,

не сломайте себе шею». Есть тысяча способов выразить любовь... но надо уметь это понимать. Когда я увидела своего мужа в первый раз, я ехала верхом на лошади, и он мне сказал: «Вы хорошо держитесь в седле!» Я сразу же поняла, что он меня любит.

Фэри: О, благодарю вас! Сколько прекрасных случаев я упустила...

Сказать, что я удивилась – ничего не сказать.

– Что это?

– Ты не знаешь? – немножко разочарованно спросила Ивашкевич.

– Как раз знаю. «Странная миссис Сэвидж». Обожаю эту пьесу.

Ивашкевич приобняла меня:

– Так и знала, что ты моя потерянная сестра. А почему я сварганила плакатик... – Поля вздохнула. – Дурацкий мой характер: взрываюсь, бешусь из-за ерунды и мне часто кажется, что я всех раздражаю. Что меня невозможно любить, вот такую. Знаешь, когда впервые смотрела спектакль по телевизору, разревелась на этой сцене... потому что подумала об этом же: сколько прекрасных случаев я упустила! И сколько раз была уверена, что всех только бешу.

– Ты-то? – поразила я. – Тебя все любят.

– Прямо уж все!

– Ну, в том смысле, что ты всем очень нравишься, ты популярна.

– Да я знаю, – вздохнула Поля, из чего я сделала вывод, что это не совсем то, что ей нужно. – Вот потому читаю-перечитываю отрывок из пьесы... Успокаивает, что ли... когда накатит меланхолия.

– Всё-таки нравятся тебе плакаты, двадцатые годы по тебе плачут! – решила я шуткой подколоть Полю, чтобы она прямо сейчас не впала в меланхолию. – Не на демонстрацию призовоloch какое-нибудь «Долой!», так хоть дома повесить, – мы вместе рассмеялись.

Удивительно, какие люди могут мучиться дурацкими комплексами! Никогда бы не подумала такого про Ивашкевич, несмотря на её действительно непростой характер, который мне ещё предстояло изучить в полной мере.

К весне мы с Полей ходили по институту под ручку, не расставаясь. Нам нравилась одна и та же музыка (техно, новая волна), одни и те же книги и фильмы: к примеру, мы по сто раз возвращались к персонажам романа Митчелл, препарирова герояев с психологической точки зрения – особенно женщин, разумеется; или взахлёб обсуждали экранизации Стивена Кинга, сравнивая их с первоисточником. Правда, тут Полинину преимущество было очевидным: она читала Кинга в оригинале, ей открывалось больше, чем мне, её анализ получался тоньше и интереснее. Поэтому я больше слушала и внимала. Разумеется, много говорили о происходящем в стране, обо всём прочитанном, ещё совсем недавно запрещённом, что полностью меняло картину мира, перепахивало мозги и заставляло чувствовать боль. Об этой боли мы тоже много разговаривали. Для Полины политическая часть жизни была очень важна, слишком явно доминировала, выталкивая всё прочее из её сознания. В конце концов, именно эта страсть определяет всё – и её жизнь, и наши отношения. Но потом, потом...

Главное, что нам всегда было, о чём поговорить – и весело, и очень серьёзно.

Полина играла роль неформального лидера в студенческом коллективе – плечом к плечу с Тимуром, но не отпуская моей руки. С какого-то момента я, точно важная персона, ходила по институту с сопровождением, между двух высоких и красивых: ошую меня постоянно вышталкивал Тимур, одесную царила красавица Полина.

Везло мне на красавиц! Была бы я парнем – эх! Марина, Полина. Внешность последней стала притчей во языцех, приметой нашего курса и гордостью группы. Да и как личность она была заметной, поэтому, понятное дело, к началу октября во всём институте не осталось студента, который бы не знал Ивашкевич.

Но вся эта слава не обходилась без неприятностей для самой Полины. Казалось бы – красота и гордость, щедрый дар природы: толстая русая коса до пояса, высокие скулы, серые глаза, статность – девица будто только что сошла с полотна Маковского. Мало кто из студентов мог удержаться от шутливой банальности, глядя на Ивашкевич, и не запеть:

– Поля, Поля! Русская По-о-оля!

Как она злилась! Кричала, ругалась, могла броситься на поющего и отвесить подзатыльник или дать джинсовой коленкой под зад. И этим ещё сильнее раззадоривала парней, поэтому шутка стала дежурной, обязательной. То и дело откуда-нибудь слышалось басовитое «русская По-о-оля!».

В итоге её достали: она сделала короткое каре (боже, отрезать такую косу!), да ещё и выкрасила волосы в цвет воронова крыла. Что, надо заметить, её отнюдь не испортило, напротив, придало взрослому шарма и элегантности, но ирония в том, что дразнилки не прекратились. Только теперь шутники, углядев в толпе брюнетистую башку, орал так:

– Поля, Поля! Нерусская По-о-оля!

– Сволочи же! – чуть не плакала Ивашкевич.

– Ты как маленькая, ей-богу, – удивлялась я, увводя подругу, чтобы она не бросилась в драку. – Сколько будешь реагировать, столько тебя и будут дразнить! Неужели надо объяснять элементарные вещи, как маленькой девочке?

Поля пошмыгала носом и вдруг пробурчала неожиданное:

– Я так ненавижу всякий национализм, что прямо на дух не выношу эту песню всеми фибрами души!

Как же я расхохоталась! Так смеялась, что в итоге Полинка тоже начала ржать. В невинной, почти детской ситуации моя новая подруга продемонстрировала страстность своих убеждений. Это выражаясь политкорректно, а если без экивоков, то я впервые начала догадываться, какого размера тараканы в голове у подруги.

К счастью, на втором курсе парни наконец-то прекратили свои глупости. Всё-таки мальчишки настолько позже взрослеют, удивительно! А Полина навсегда осталась брюнеткой. Ей понравилось.

Вернёмся к Полькиным тараканам: они маршировали в её голове стройными рядами, колоннами и под военный марш, так как все принадлежали одной породе и назывались словом «политика». По сравнению с ней я была не политизирована вообще – обыкновенная мещанка, премудрый пескарь и тот самый пИнгвин, что прячет тело жирное. Тимур (по сравнению) – эдакий умеренный демократ с уклоном в бытовое мелкотемье. Полина же настоящая «Валентина» в «сабельном походе». «Боевые лошади», «на широкой площади» – вот всё про неё. ««Поля, будь готова!» – восклицает гром». Да простит меня Эдуард Багрицкий, но образ пионерки Вали запал мне в душу с младших классов, когда меня до слёз пробрало знаменитое стихотворение. А в семнадцать лет показалось, что я встретила выжившую, выздоровевшую Валу-Валентину, только теперь она звалась Полиной и поменяла свои убеждения на прямо противоположные. Поля бросалась в политические события со всей силой молодого максимализма и горячности. Например, в ту ужасную заваруху 93-го года. Конечно, Ивашкевич выступала на стороне президента, против Верховного совета и рвалась защищать Останкино. Мы тогда здорово понервничали из-за неё.

– Как тебе только в голову пришло туда ехать! – орала я в трубку на следующий день после громких событий. – Там стреляли, дура!

– А если б все отсиживались по домам, как вы, как крысы? – не осталась в долгу Полинка. – В прошлый раз, в 91-м, мы были вместе, это тебя почему-то не удивляло и не пугало, ты просто там была! Если бы не те, кому не всё равно...

– Идиотка! – грубо перебила я страстную речь. – Думаешь, если б ты не поехала, по Белому дому не стали бы стрелять? Это лично тебе было посвящено, мол, Ивашкевич с нами – действуем, братва, так? – я перевела дух. – И вообще, Поленька! Не сверни себе шею.

– Что?

– Плакат на твоей стене. Не сверни себе шею!

– Ах, да... Ты за меня беспокоишься. Потому что любишь, – Поля моментально помягчела. – Спасибо!

Я тогда за неё всерьёз психанула. Теперь точно знаю, что, если ты не в эпицентре событий, а далеко и за кого-то волнуешься, всё представляется намного страшнее и опаснее, чем оно есть на самом деле. Впрочем, тогда действительно стреляли. И мы с Тимуром, поначалу тоже собираясь на защиту Останкина, на сей раз пожалели родителей, в буквальном смысле впавших в истерику и в предынфарктное состояние. В норму их вернуло лишь наше клятвенное обещание никуда не соваться.

– Как предки не запирают тебя на семь замков? – интересовалась я у Поли. Та усмехнулась:

– Они сто лет назад уже махнули на меня рукой. Знают, что по-другому не будет, запирают бессмысленно – снесу стену. Ещё в школе привыкли к неприятностям, когда их тягали к директорисе, потому что я организовывала митинги и демонстрации.

– Правда? Ну, даёшь! А по поводу?

– Против коммунистических принципов преподавания истории, – заулыбалась Ивашкевич, – против уроков военного дела... и... что-то ещё было, уже не помню.

На моей свадьбе именно она была в ЗАГСе свидетельницей «со стороны невесты». Малюдкам я объяснила, мол, не могу выбрать, кому из них доверить столь важную миссию, боюсь обидеть кого-то одного. И частично это было правдой. Другая часть правды заключалась в том, что к концу второго семестра я по-дружески влюбилась в Полинку и мне очень хотелось, чтобы она на полных правах вошла в наш триумвират. Дартаньяном.

Но фиг вам, не получалось. Не смешивались новые приятели из институтов с нашей троицей, ну никак! Будто висело в воздухе напряжение и присутствовало невидимое разделение: мы сами по себе, а остальные – отдельно. Даже своих парней мы пускали в нашу маленькую компанию с большим скрипом. Вот, к примеру, мой Тимур...

Малюдки лишь месяца через три после нашей свадьбы сумели расслабиться и, приходя к нам в гости, вести себя так, как мы привыкли. Они забирались с ногами на мягкую мебель и, сдёрнув с ушей модные неудобные клипсы и положив их в карман или в сумочку, болтали обо всём на свете. Начинали, как прежде, спорить на чуть повышенных тонах с девчачьими вскриками «Ну ты вообще! Совсем тютю, что ли?» Опять превращались в девчонок-школьниц, а Тимур наблюдал, улыбаясь. Иногда тихонечко поднимался и, сцапав свой бокал с вином, удалялся из комнаты, аккуратно прикрыв дверь. С одной стороны, понимал, что нам ностальгически приятно побыть втроём, с другой, возможно, ему были не так уж интересны наши сплетни про одноклассников и воспоминания о прошедшем детстве.

Но стоило ему уйти, как кто-то из нас, чаще всего Маринка, поднимал брови, делал улыбку Джокера и громким шёпотом объявлял:

– А теперь... про мужиков, ура!

И начиналось... Солировала Маринка, разумеется: её байки были разнообразны и великолепны. Про «мужиков» она знала всё, ведь таскались за ней толпами. Каждый день происходил очередной эпизод: то кто-то признавался ей в любви, то отчаявшийся ухажёр намекал на возможный суицид, то просто прохожий, свернув шею на шедшую мимо Маринку, врезался лбом в столб. Тимура я, конечно, не обсуждала, но про парней вообще и в частности высказывалась, строя предположения и развивая идеи, в том числе, как выяснилось позже, вполне себе феминистские. Людка чаще помалкивала, внимательно слушая нас и похихатывая.

С Полиной у нас сложилась немного не такая, как с Малюдками, дружба: взрослая, осмысленная, «настоенная» на общих интересах и, что любопытно, на той самой «химии», которая возникает отнюдь не только в любовных отношениях. Извольте видеть – моё личное открытие, за долгие годы неоднократно убеждалась в его истинности.

Сколько раз случалось: встреча, знакомство и по всем параметрам видишь, что человек твоей группы крови. Одинаковые взгляды на главное и базовое, возраст совпадает, происхождение «из таких же». Обалдеваешь, насколько это то, что тебе нужно, твоё, родное – по приоритетам, по любимым воспоминаниям, анекдотам и прочим важнейшим кодам. Сблизись с превосходным кандидатом на вечную дружбу, внимательно разглядишь его, посидишь рядом за одним столом, пройдёшься по улице, беседуя – нет, нет и нет! Не то, не те глаза, смех раздражает, мимика бесит, говорит не вовремя, не тот тон, слишком резкий голос, даже запах (духов, дезодоранта, волос) отталкивающий. Ничего не выйдет с дружбой, ни-че-го, и половые гормоны тут вообще ни при чём. Какое-то глубинное несовпадение на тонком уровне, и мне думается, что именно на химическом. А как ещё объяснить? Ведь, к примеру, в эстетических пристрастиях ты с этим человеком совпадаешь в точности так же, как и во многом другом. В чём же тайна великая, где спрятался ответ? Анализируешь, переживая, ища более-менее внятное и разумное объяснение, и в сухом остатке только она – «химия», чёрт её дерит.

И наоборот. Сталкиваешься с человеком своего пола, и сразу возникает ну такая симпатия, что сил нет. Тянет быть рядом, бесконечно разговаривать, рассказывая о себе и узнавая о ней. Хочется назвать «сестрёнкой». А она – бац! – как откроет рот да начнёт взахлёб рассказывать про любимое «с телевизора», про «битву экстрасенсов» и тайных детей Пугачёвой... Почти плачешь одновременно и от разочарования, и от понимания, как непросто будет отделаться от липкого разговора и уже до ужаса немилого человека. Трагическое несоответствие «химии» и абсолютно не подходящей для тебя сущности. При межполовом общении на разок сошло бы – переспали и разбежались. А для дружеского даже разок многовато: общение невозможно, невыносимо, убивает!

Странно, что я ни разу не спросила про это у Людки – биологички-химички нашей. В школе мне и в голову такое не приходило: дружба нашей тройцы была настолько давней, что мы в самом деле относились друг к другу по-сестрински. Никакой «химии»? Или наши «химии» сумели и успели приспособиться друг к другу? Всё же надо будет как-нибудь у неё поинтересоваться.

Малюдки мои. Когда мы стали самыми неразлучными в мире подругами, нам было всего по семь лет. По-моему, тогда никакая «химия» ещё и не думала включаться, мы, малыши, находили друг друга как-то совершенно по-другому. Какие у нас были критерии? Что толкало к тому или другому однокласснику? Совсем не помню. Малюдки стали на долгие годы близкими и родными, ничего не изменилось, и когда мы подросли. Любопытно: а если бы мы впервые встретились в тринадцать, четырнадцать, семнадцать лет? Выбрали бы мы друг друга? Стали бы дружить? Превратились бы в неразлучную тройку? Или прошли бы мимо, не заметив? Вопросы какие-то неприятные, но, к счастью, на них нет и не может быть ответа.

С Полиной у нас произошло счастливое совпадение всего – и «химического», и интеллектуального. Я улыбалась всякий раз, когда издали видела статную, шумную, улыбчивую красу ненаглядную. Она была приятна мне во всём – и это помимо того, что наши интересы совпадали почти полностью, расходясь лишь в мелочах.

Поля обожала поэзию и, к сожалению, хорошо помнила меня, как поэта.

Однажды мы сидели на скамейке возле института, болтали после занятий, греясь на последнем октябрьском солнышке. Ждали Тимура. И вдруг Поля, хитренько улыбнувшись, негромко начала декламировать:

– Вы любите меня?

Позвольте не поверить.
Всё это блеф и чушь,
И очень жаркий день.

Но если любите, то
Как, простите, пень
Траву, из ничего которого
Вдруг выросла она.
А пень решил,
Что он чего-то может.

Так бабушка,
Что бьёт челом пред алтарём
Счастливо верит –
Ей бог поможет.

Инфарктник любит свой валокордин.
Гурман же страстно верит,
Что от беды и от седин
Его избавят
Искуснейшие яства.

Согласны вы, мой друг и господин?
Так вот поймите: я вам – не лекарство!

Я слушала и мучилась, мне становилось больнее с каждым произнесённым Полей словом, с каждой строчкой. Мною сочинённой строчкой! Демон взял под козырёк и заступил на дежурство, пока Поля Ивашкевич с выражением декламировала мои стихи, которые я в одиннадцать лет посвятила мальчишке с глазами Пьеро, шепнувшем мне прямо в ухо «А я тебя люблю!». Я их сочинила минут через десять после его признания, правда, ему не показала. Не садистка же я.

Примерно через полгода стихи были опубликованы, кажется, в «Московском комсомольце», в очередной статейке про вундеркиндов.

– Как такое можно сочинить в четвёртом классе? – тем временем звенел восторженный голос подруги.

– В пятом.

– Неважно! Всё равно невероятно! Я на всю жизнь выучила наизусть, так мне понравилось! Белка, что с тобой? Что случилось-то?

Полина же мне друг? Друг. Ещё какой! А друг вправе знать правду. И я, не меняя выражения лица и по-чеширски улыбаясь, рассказала, наконец, поклоннице своего таланта историю до конца. Пояснив, что стихов у меня больше нет и не будет. И очень-очень попросила впредь никогда не устраивать подобных чтений. И умоляла закрыть тему навсегда.

Наверное, была убедительна. Поля, как сама деликатность, сроду больше не возникала с моими стихами, более того, ограждала от колючих (для меня) вопросов случайных людей про «творчество».

– Отстаньте от человека! – возмущалась она. – Захочет – покажет стихи, если автор этого не делает, значит, не желает. Что за люди, кто вас воспитывал?

Пристыженные любопытствующие всегда смущённо ретировались.

Иногда мы с ней встречались в выходные, в хорошую погоду много гуляли по московским скверикам в Центре. Она читала наизусть Ахматову. Хорошо читала! Если честно, то куда лучше, чем декламировала стихи начинающая артистка Маринка. Впрочем, может во ВГИКе её всё же научат?

А вот Полинкина политизированность иногда казалась мне чересчур нездоровой, что ли. С малолетства борец с режимом – нормально ли это? Может, и да. Она ведь из семьи советских интеллигентов – кухонных диссидентов, капитально заморочивших голову дочери. С одной стороны, всё правильно: ненависть к тирании, безусловный приоритет свободы слова и выбора, демократия – наш рулевой... Но проблема в том, что Поля, в итоге, отказывалась в принципе мириться с неидеальностью окружающего мира: её родина, Россия, должна была, обязана стать «нормальной, демократической страной», и только на таких условиях Ивашкевич обещала угомониться... может быть.

– Так ведь идеала нет и быть не может, – пыталась я втолковать подруге. – В тех же Штатах или в Европе проблем выше крыши! А если и у нас не будет всё хорошо, ты так и останешься на баррикадах до пенсии?

– Ой, да нам до Штатов или до Европы не доползти ещё сто лет! – отвечала Поля.

– А что тебе сейчас не так, чего не хватает? – удивлялась я. – Свободу, по-моему, можно половником черпать – говори, что хочешь, делай, что хочешь...

– Сейчас – да, но это должно быть закреплено, понимаешь? – горячилась Ивашкевич. – Новая конституция, новые правила – всё должно стать писанным законом, на бумаге, чтобы уже никогда в жизни не развернуть этот корабль с нормального курса!

О, наивность! «Не развернуть». Да хоть не просто на бумаге, а на скрижалях или на электронных носителях закрепить и по пять раз для надёжности! И что? Надо будет – развернут в любую сторону и в самый неожиданный момент. Собственно, что и произошло. При всех правильно оформленных «бумагах».

Но много лет назад, помнится, я выразилась метафорически, просто чтобы сказать красиво, ничего конкретного в виду не имея:

– Бумага легко горит. И быстро.

Провидица хренова!

Страстная Полина натура проявлялась не только в политической активности: она крутила недолгие романы направо-налево, бешено, по-карменовски. Как только немного утихала утолённая страсть, Полине становилось тягостно, скучно, и она старательно искала любой повод закончить отношения. В сущности, она была бы вполне счастливым и благополучным человеком, если бы не вечная «боль за родину», не постоянный политический стресс. И это беспокоило. Я всерьёз волновалась, что однажды она влипнет в историю. Хорошо, если жива останется.

Тем временем Малюдки взривовали меня!

– Как там твоя Фанни Каплан? – вредным голосом спрашивала Маринка, когда мы встречались, гуляли или сидели в кафе.

– Господь с тобой, за что ты её так? – смеялась я. – Она не террористка.

– Ну, Инесса Арманд или Клара Цеткин! Ты ж сразу поняла, о ком я!

– Она отличная девчонка, чего ты?

Тут фыркала Людка.

– Ага. «Свобода на баррикадах», ей пойдёт топлес с таким бюстом.

– Девки, вы что злые такие?

А они просто ревновали, зная о моей новой привязанности. Ведь я пыталась их всех подружить, но увы.

Студенческая тусовка, гуляния, посиделки, киношки, кафешки... Всё, как у всех в этом возрасте. В нашей компании любимой песней для исполнения хором была «В пещере каменной нашли напёрсток водки...». Приличные, благополучные будущие писатели, поэты и прочие

литераторы громко распевали про водку и закуску, чаще всего почти совсем трезвыми, просто переполненными жизнью и энергией до лёгкого опьянения.

– Пили? – выкрикивал Тимур, бряцая на гитаре.

– Пили! – стройным хором отвечали мы.

– Ели?

– Ели!

– Хватит?

– Мало! Мало!

И дальше все вместе в полном восторге:

– Мало водки, мало водки, мало водки, мало водки и закуски тоже не хватало на всех!

Однажды, когда мы распевали эти дурацкие куплеты дома у Полины, вдруг приоткрылась дверь и появилась печальное лицо её мамы:

– Я думала услышать Окуджаву... – грустно сказала она, а мы заржали.

– Мама! – строго сказала Поля, и дверь закрылась.

Было хорошо, только мне всё равно вечно не хватало моих Малюдок.

Дружбы мои незабываемые!

Продолжение разговора с мамой про демона

За окном тьма, скоро полночь, мама включила торшер возле дивана. Фимка дрыхнет. Я умничаю.

– По собственному опыту скажу, ма, что в контроле за своими внешними реакциями на происходящее есть огромное здоровое зерно, зернище! Наверное, это чистая психология: если контролируешь свою мимику, следишь за дыханием, то в ситуации стресса становится легче.

Мама кивнула:

– Абсолютно объяснимо с медицинской точки зрения: дыханием контролируешь выброс адреналина, вызывающего слишком сильный стресс.

– Вот! Постепенно это становится хорошей привычкой, и ты учишься не быть слабой в глазах людей. Люди – они такие первобытные! Чуют слабого, и у них включается древний инстинкт – «добить». Иногда они даже не соображают, что делают, почему их так тянет принимать участие в травле того, кому и так улюлюкает вслед уже десять тысяч человек.

– Ты меня пугаешь! Откуда такой опыт? Разве с тобой случалось что-то подобное?

– А разве обязательно, чтобы случилось именно со мной? Тебе не кажется, что это эмоциональная тупость – понимать лишь собственные чувства и иметь в виду только собственный опыт? Ты же сама не такая, мамуль.

– Ты права.

– В общем, внутренняя уверенность в себе, сила, которая в бесстрастности и отражается на лице, один из способов выживания.

– Есть одно серьёзное «но». Это я тебе как врач скажу. Когда вопреки испытываемым чувствам, человек надевает маску бесстрастности, при этом в душе кипит вулкан, знаешь, что происходит? Организм быстрее изнашивается, мы его губим. Эмоции требуется выражать, иначе случается взрыв внутри. И тогда какой во всём смысл? Получается, «держать лицо» – себе вредить?

– Э, мам, ты не понимаешь! Услышь меня! Смысл в том, чтобы реакция была не только внешней, но и глубоко внутренней с как можно более лёгким отношением к происходящему и к людям. Надо плевать на всё по-настоящему и уметь не просто скрыть свои чувства, а не испытывать их. Суть в профилактике, как сказали бы вы, медики: быть защищённым заранее, всегда, даже когда ничто не предвещает плохого.

– А ты не превратишься в бездушное существо? То есть... я-то тебя знаю, ты не сможешь, но тебя не пугает такая возможность? Досовершенствуешься до полного безразличия ко всему – и что?

– Хм. До этого настолько далеко! По-моему, ты опять не совсем поняла... или я плохо объясняю. Умение сдерживать эмоции и не выглядеть слабым вовсе не мешает чувствовать, сочувствовать и даже страдать, когда без этого никак. Или вот, к примеру, счастье. То самое, когда «остановись, мгновенье – ты прекрасно!»... Блаженство с мордочки лучше бы убрать. Небезопасно. На эту тему в одном популярном журнале напечатана отличная статейка психолога, сейчас покажу.

Я метнулась в свою комнату за журналом. Фимка недовольно поднял башку и дёрнул хвостом: мол, чего скачешь, так хорошо сидели... Вернувшись, открыла нужную страницу.

– Смотри, что пишет: «Весь этот кошмар – искренность, откровенность, открытость – прямые сообщники самоубийств, улыбчивые проводники в личный ад человека, в депрессию, потому что непереносимое условие выживания людей с такими качествами – наличие рядом любящих близких и чужих, но порядочных граждан, хотя бы по минимуму – не сволочей. А с этим у человечества в целом очень большие проблемы.

Посему главный постулат: открытость и откровенность – недруги и даже враги. Закройтесь на все шпингалеты, застегнитесь на все пуговицы! Особенно, когда вам хорошо. Если плохо – всё немного проще: вас, скорее всего, не тронут, вы уже повержены. Хотя не следует забывать, что есть опасность инстинктивного желания добить слабого, кое-кто может и не удержаться от соблазна».

– Какие страшные рекомендации! – ужаснулась мама. – Нет, я не согласна категорически. Этот психолог сам нуждается в помощи, ему явно плохо, у него жуткий личный опыт. Зачем он такое пишет? Это страшно!

– А мне кажется, что всё верно. И папа именно это имел в виду, хотя и не был психологом. Пришёл к тому же интуитивно и своим опытом. Слушай, мам, о чём я сейчас подумала! Родители отдают детей заниматься спортом ради здоровья, а ещё для того, чтобы их крошки могли дать отпор, когда понадобится защищаться. И вот человек, в итоге, сможет постоять за себя, но чисто физически! А что делать, когда плюют в душу, вытирают ноги о самооценку? Какая часть многоборья от этого защитит? И прикинь сама, насколько чаще люди оказываются избиты и истерзаны морально, чем становятся жертвой нападения хулиганов? Так ведь?

– Так...

– Отсюда вывод: человека, пока он ребёнок, необходимо учить справляться с тем, что является куда более реальной опасностью. Мне кажется, именно так думал папа. Хотя учиться давать по морде тоже полезно.

– Ты права, мне нечего возразить. Я ещё буду думать об этом. Но знаешь... в стремлении быть неуязвимым нужно как-то не потерять способность к сочувствию. К любви. Потому что тогда зачем вообще вот это всё – благополучие, покой, умение быть сильной и независимой? Для чего?

– Для себя. Этого мало?

– Мне кажется, маловато.

– Ой, мам, что вспомнила! Папа упомянул однажды про песню Высоцкого, которая про это – про умение прятать своё лицо... Я была маленькой, и он не стал на этом останавливаться. Как ты думаешь, про какую песню речь? Столько лет прошло, а я так и не поняла.

Мама задумалась.

– Хм. Не уверена на сто процентов, но, кажется, у Высоцкого есть песня, которая называется «Маски». Может, он её имел в виду?

– Не помню такую. А про что она?

– Так про маски же, – засмеялась мама. – Про то, как люди носят маски. А чего гадать, поищи на полках первое издание его стихов – «Нерв». Должно быть там.

Книг у нас дома было много, очень много: все стены в стеллажах и полках, на которых книги стояли в два ряда. Почти бессистемно, поэтому любой поиск превращался в маленький ад. Или наоборот, как посмотреть: пока найдёшь нужное, столько книг переберёшь, что непременно выяснится, что это ещё не прочитано, а это надо бы перечитать...

«Нерв» нашёлся довольно быстро – всего через полчаса. Там были «Маски». Потрясающие! Надо бы песню найти.

Главные слова – для меня и, видимо, для папы – вот эти:

Я в тайну масок всё-таки проник,
Уверен я, что мой анализ точен,
Что маски равнодушья у иных —
Защита от плевков и от пощёчин.

– Конечно, конечно, это! – у меня горели щёки, я радовалась, что тайна разгадана.

Небольшой постскрипtum к истории про песню. Очень скоро нашлась запись исполнения Владимиром Семёновичем «Масок», и я испытала шок. Бард спел иначе:

Я в тайну масок всё-таки проник,
Уверен я, что мой анализ точен,
Что маски равнодушья у иных —
Защита от *заслуженных* пощёчин.

Пощёчины заслуженные? Но ведь это переворачивает смысл текста! Я прослушала разные записи, и часто автор исполнял именно так. То есть, маска – зло, она прячет того, кто виноват. Если же «от плевков и от пощёчин», то содержание меняется на прямо противоположное.

Что это? Высоцкий ошибался, когда пел? Или он намеренно менял смысл? Но зачем или почему?

Это осталось для меня тайной. Немного царапающей душу тайной. Ведь в одном случае, Владимир Семёнович как бы поддерживает меня и папу, а в другом – безусловно осуждает.

Размышления мои, поиски.

Дела сердечные

Перечитала написанное. И, сдаётся мне, по моему повествованию можно подумать, что в детстве вовсе не было интересовавшихся мною мальчишек, и никто (кроме единственного раза в одиннадцать лет) в меня не влюблялся. Неверное впечатление. Просто к этой стороне жизни моё отношение было странным, возможно, неправильным. Что оно не такое, как принято, я начала подозревать классе в шестом. Ведь у меня совершенно не получалось заставить себя интересоваться реальными мальчишками: ни сверстниками, ни теми, кто постарше.

Зато я по уши влюблялась в литературных героев и плакала от любви... например, к Данко – тогда я была ещё совсем соплюхой. Позже пришли куда более серьёзные чувства к капитану Немо и Эдмону Дантесу. Следом меня покорила Базаров – о, как же я рыдала над его судьбой: «Я его поняла бы, поняла, никто не смог бы его понять, как я!» Нежно любила Чацкого, презирая как последнюю дрянь, Софью, не достойную ноги ему мыть. Андреем Болконским всерьёз увлекалась недолго – так вышло, что одно литературное произведение

очень скоро «наложилось» на другое прочитанное, и вот тогда настал апофеоз моих девичьих чувств: я буквально заболела страстью к Печорину. Конечно, свою роль сыграла телепостановка Эфроса, где Григория Александровича исполнил Олег Даль. Сам Олег Даль! Как бедным обычным мальчишкам тягаться с такими личностями?

А ещё были фильмы, просмотр которых гарантировал бессонные ночи девочке, влюбившейся то в Теодоро, то в юношу-медведя, то в барона Мюнхгаузена или гардемарина Александра Белова.

Никаким мальчикам не находилось места в моём сердце, когда там властвовали такие персонажи. Однажды до меня дошло через десятые уста, что некоторые девчонки считают меня «вообразулей», а среди парней я слышу «задавакой» и «гордячкой» (в нехорошем смысле этого слова). Мальчишки обижались и, наверное, по-своему были правы. Я ведь никак не реагировала на знаки их внимания, на приглашения в кино (никогда не ходила с «кавалерами», мне с девчонками было интереснее), на мелкие подарочки, оставленные на моей парте (открытка с розой, красивая заколка в целлофановой упаковке из ближайшей галантереи). Я равнодушно смахивала дары в портфель или отдавала подружкам. Никому и в голову не могло прийти, что такая безразличная девочка заливается слезами любви над книжкой, перед телевизором или в кинотеатре, а ночью видит страстные и даже стыдные сны.

Я выросла, появился Тимур – умный, красивый, ну почти Печорин. Он учился в нашем институте на прозаика и уже давным-давно писал. Учась, продолжал творить и публиковаться. Когда-то рассказы школьника Тимурки печатали в «Пионерской правде», а теперь его сочинения красовались в «Литературной газете» и один раз даже в журнале «Юность». Честно говоря, в нашем институте таких публикующихся там-сям было немало, но по-настоящему одарённых – единицы. А разве их может быть много?

Тимур, как и большинство из нас, грезил новым мышлением, свободой творчества, переосмыслением прошлого, о чём, собственно, и писал. Беспощадно разоблачал комсомолию, кондовые представления маразмирующих стариков о жизни, высмеивал идеологических догматиков и «славу КПСС». По этой причине, а заодно и потому что он был хорош собой и имел выраженные лидерские качества, Тимур быстро стал заметной фигурой в институте. Как получилось, что из всех девушек он выбрал меня, не помню. Не знаю, не понимаю. Кстати, забыла у него спросить, почему... Так и не спросила.

Однажды с удивлением заметила, что этот парень всякий раз оказывался рядом со мной и непременно старался втянуть меня в беседу. Несмотря на то, что за ним вечно вилась стайка восторженных девчонок и очкастых юношей.

Внимание Тимура быстро сделалось очевидным, и я, наконец, его разглядела. Хорош! Неочевидной красотой, не «делоновской», скорее, чертовски обаятелен и, как сейчас любят говорить, с харизмой. Печоринской харизмой. Упрямый подбородок, очень строгий мужской рот, брови вразлёт, чуть крючковатый нос. И совершенно голубые глаза – именно из-за таких очей девчонки обычно теряют головы сразу и всерьёз. Тогда у него были каштановые кудри. Он довольно быстро их растерял – после двадцати пяти лет не осталось и воспоминания о густом богатстве, засветилась «тонзура». Но это потом, когда изменилось много чего куда более важного.

Видимо, потому, что Кондратьев успешно претендовал на лидерство среди сокурсников, был высок и ехидно крючконос, девичье сердце дрогнуло. Правда, для начала я не нашла ничего лучшего, чем, будто бы всерьёз, нахмутив брови, спросить у него:

– А ты Тимур в честь какого из? Фрунзе, Тамерлана или Гайдаровского героя?

Бедняга заморгал, не зная, что ответить. Наверное, я первая, кто задал такой глупый вопрос.

– Да ладно, – снисходительно произнесла я-стерва. – Ты ж был новорожденный и не виноват.

К счастью, он всё-таки заржал, а то я было испугалась, вдруг он дурак? Тут-то всё бы и кончилось, не начавшись.

Лучше бы, пожалуй, так и случилось.

Не то чтоб я жалею о тех жарких месяцах сумасшедшей любви, о первой моей стонущей страсти, о бесконечных разговорах с любимым – про нас, политику, историю страны, сталинизм и демократию (господи, всё вперемешку, неистово, пламенно, захлёбываясь от эмоций) – ни в коем случае не жалею! Жалею, что вовремя не остановилась.

– Всё же сталинизм надо судить так же, как в Нюрнберге судили нацизм!

– Да! Горбачёв молодец!

– Да какой он молодец? Сам до смерти испугался, он хотел только немного поправить...

– Как же я тебя люблю!

– И я тебя!

И поцелуй врасос.

– Где мы будем жить? Надо сразу отдельно.

– У меня есть квартира, я тебе говорила – бабушкина. А ты читал вчерашнюю статью в «Московском комсомольце»?

– Да! Невероятная история про стукача из тридцатых, ты про это?

– Конечно! Какая он гадина! Я тебя обожаю!

– И я тебя! Демократия – единственно правильный путь развития! В СССР сроду её не было, и куда мы пришли?

И опять врасос.

Умора! Вспомнился старый советский фильм про колхозную любовь «Свадьба с приданым», в котором полюбившие друг друга герои разрывались между чувствами и «битвой за урожай». Очень смешное кино. В семидесятые годы комсомольско-производственно-романтические фильмы делали уже более адекватными реальности. Мы, юные демократы 90-х, воины с тоталитаризмом, как мне кажется, немножко походили на героев лубочной «Свадьбы». С одной стороны, мы же были всамделишные, убеждённые борцы за всё хорошее под лозунгом «Даёшь перемены, и ни шагу назад!», а с другой – влюблённые юноша и девушка, строящие планы на будущую счастливую жизнь.

Не знаю, разделят ли моё мнение люди постарше, но мне кажется, именно наше поколение первое, сумевшее по-настоящему отринуть совок. Что бы ни думали замшелые граждане, у многих из нас, тогда молодых, были убеждения, в которых нам почему-то часто отказывали – мол, мы ничего не понимаем, ибо недоросли и не доросли. Можно подумать, старшие много понимали! Если б хоть что-то соображали, то огромной стране, впадающей в экономический коллапс, не понадобилась бы перестройка. Насоображали, натворили дел! Хотя идиотов и среди моих сверстников предостаточно, их процент в любом поколении, думаю, стабилен.

Есть у меня личные воспоминания – примеры того, что подростки могут иметь убеждения и сформировавшееся мировоззрение. Например, отношение к сталинизму или нацизму для меня с ранней юности безусловный маркер, чётко обозначающий, общаться с кем-то или посылать по всем известным адресам. Однажды в нашей школьной компании девятиклассников, гулявшей по весне во дворе, девочка высказалась про тридцатые годы в духе «всё было не так просто, слишком много врагов окопалось в стране, их надо было выкорчёвывать, несмотря на невинные жертвы... да не такие уж и невинные!». Знакомый мотив: лес рубят и лучше расстрелять десять невинных, чем...

– Тупица! – громко произнесла я тогда с бесстрастным выражением лица. Повисла опасная тишина. – И ещё дрянь!

К счастью, компания была моя, наша, а девчонка – случайная. Меня поддержали, и она, довольно грубо подгоняемая невежливыми словами, с трудом сдерживаясь то ли от слёз, то

ли от злости, быстро ретировалась. Молодость и максимализм – близнецы-братья, мы повели себя грубо, но по существу правильно.

Когда я была десятиклассницей, за мной ходил верзила из параллельного класса. К слову, никогда не понимала, почему за мной (или за Людкой) кто-то бродит и липнет, если рядом с нами есть Марина? Догадывалась, что мальчишки даже не мечтали её «закадрить». Потому и не пытались, довольствовались малым, тем, что казалось возможным и доступным – за неимением гербовой. А разве не так?

Впрочем, в том случае мне было всё равно. Ну, приклеился, вошёл в наш «большой круг», ходит с нами гулять и в кино. За мной, если можно так выразиться, ухаживает – зонтик держит над головой, когда дождь, конфетами угощает, в тёмном кинозале непременно рядом пристроится и за руку норовит схватить. Да пусть!

Но однажды случилось непоправимое. Для него. В каком-то трёпе я процитировала сатирическую реплику Жванецкого про совковый бардак. Вдруг этот дурак нахмурился, скривился, как от кислого, и высказался:

– Не люблю этих картавых сатириков! Они всегда на русских грязь льют, притворяясь критиками. А сами радуются любой нашей беде.

Я вытаращила глаза, а у моих Малюдок сделались бульдожьих мордочки. Это означало, что они сейчас могут начать очень больно кусаться, длинному тупице мало не покажется. Они-то помнили, что я – наполовину «картавая». Хотя для меня самой дело было отнюдь не только в этом. В общем, Людка всего на секунду меня опередила.

– Позвольте вам выйти вон, – железным тоном произнесла она.

– Чего? – вылупился, не читавший Чехова защитник обижаемого «картавыми» народа.

– Пшёл отсюда! – чуть громче, чем нужно для обычного разговора, уточнила я. – И чтоб духу твоего не было в двадцати метрах от меня, понял?

– И от нас тоже! – крикнули Малюдки.

Дурак побледнел, потом покраснел, губы его сжались в ниточку, глаза сузились.

– Ах, вот оно как, – тихонько произнёс он. – Всё ясно.

– Вот и вали!

С тех пор до самого выпускного мы с ним поглядывали друг на друга с плохо скрываемой ненавистью.

Так что политика вмешивалась в мои отношения с людьми давно, аж со старшей школы. Может, это нормально? Просто меру надо знать. А какова эта мера, сколько в граммах или литрах? Где граница допустимого? Наверное, для каждого своя. С юности я была изрядно политизирована, мои убеждения с тринадцати лет стали твёрдыми, в чём-то по сей день неизменными, некоторые свои взгляды я, разумеется, за столько времени пересмотрела.

Мне кажется, в нормальной жизни в этом ничего такого нет: ты республиканец, я – демократ; ты – тори, я – виги, но это глубоко личное дело и к походам в кино и на танцы отношения не имеет. Но где норма, а где Россия? Здесь даже несчастный поэт обязан быть больше, чем просто поэтом.

Если не «забивать» на политику и знать историю страны, анализировать прошлое, думать о будущем, то непременно нужно выбрать некую сторону – за «красных» или за «белых». Это бывает критично для самоопределения и понимания, с кем ты, кто твои друзья и кого тыпустишь в свой дом и в свою жизнь, а кого ни за что. В России всё полярно и непримиримо.

Наша юность пришлась как раз на эпоху перемен, которой древние китайцы пугали и проклинали. Принципиально я с ними, с китайцами, не согласна: смотря от чего к чему происходят перемены, далеко не всегда к худшему и во зло. Но они никогда не бывают безболезненными, особенно в нашем случае, когда происходила ломка общества, строя и убеждений, а потому вчерашний добрый приятель вдруг оказывался страшным врагом – и по какой причине? А из-за трактовки происходящего, из-за взгляда на прошлое, из-за выбора «не той» сто-

роны! И горько, и грустно, и невыносимо. Но, как точно выразился однажды Тимур, в нашей стране гражданская война продолжается, просто бывают долгие затишья, но окончания её не видать.

Не раз я намеревалась отказаться от каких-либо политических воззрений в угоду человеческим отношениям. Но, как выяснилось почти моментально, это невозможно для меня. Потому что тогда пришлось бы удавить в себе часть совести, зажмурить глаза на то, на что их нельзя и на секунду прикрыть. Понятно, что миллионы живут, следуя принципу «я не интересуюсь политикой», и ничего. Но про себя знаю, что не могу так. Я обязана делать выбор, который диктует совесть.

Такова наша реальность, по-другому никак. Со мной часто спорят, что, кстати, тоже показатель: в девяти из десяти случаев не соглашаются те, кто, либо имеет искренние людоедские убеждения, либо пошёл на сделку с совестью и выбрал лояльное отношение к людоедству. Например, так: да, этот старикашка служил в НКВД, пытал и расстреливал невинных людей, но он ведь дедушка жениха нашей дочери, придётся ему руку подавать и вообще всячески дружить. Серьёзно? Идите на хрен! Меня почти никто не поддерживает в подобном убеждении. Теперь это уже не имеет никакого значения и на это чихать, а в юности я переживала.

Есть большой риск остаться в одиночестве, имея твёрдые и безусловные принципы. В том случае, если их не скрываешь, разумеется. Я не скрываю, при первой же возможности обозначаю реперные точки, которые для меня святы. И это здорово уменьшает количество людей рядом со мной. Зато качество весьма радует. Меня вполне устраивает подобный расклад.

Уже в молодости убедилась, что людоедские взгляды исповедовали лишь самые убогие из моего поколения, презираемые мною и глупые. И как же так получилось, что именно они стали лидерами наступившего нового века?

Полюбуйтесь, как оседлав любимого, но очень чувствительного конька, я ускакала незнамо куда от рассказа о делах сердечных. А что же хотела сказать с самого начала? Ах, да!

...Так вот: были в жизни мальчики, проявлявшие ко мне интерес и нешуточный, но дальше поцелуя в щёчку дело не шло – мне не хотелось, не могло. В Тимура же я втрескалась по-настоящему. По-женски страстно.

Всё у нас случилось, и мы решили, что жить друг без друга не можем – это смерти подобно, поэтому надо срочно жениться. Удивительно, но его родители не возражали, хотя у меня на их счёт имелись обоснованные тревоги и сомнения.

Они были литераторами, чьи имена вписаны в толстенный талмуд «Союз писателей СССР». Но почти никто из читающей публики их не знал. Написанные ими и изданные книги мало кто брал в руки (при неплохих тиражах, между прочим), так как то была заказная советская патриотическая разлюли-малина. Зато оба литератора зацепились за хлебные синекурные должности при аппарате Союза писателей. Будучи членами КПСС, они стали номенклатурой, что дало их семье возможность жить благополучно, сытно, при пайках, курортах и прочем обеспечении. С этой стороны мой брак обещал быть удачным, мама радовалась.

Радовались ли Кондратьевы родству с девочкой, которая по маме Нейман, да ещё из вундеркиндов – не думаю. Может, если б времена не менялись столь стремительно, они не допустили бы нашего брака. Вполне представляю такое развитие событий, хотя, как известно, сослагательное наклонение для уже произошедшего будет иметь смысл лишь после изобретения машины времени. Словом, мама и папа Тимура отреагировали спокойно, тем более, что я невеста с приданым – с квартирой. Наше с Тимуром счастье – мы могли сразу отделиться и жить собственной семьёй. Хотя я и поплакала на мамином плече – было жалко и тревожно оставлять её одну.

– Ты спятила, дочурка? – смеялась мама, обнимая меня. – Я ж не старушка бессильная!
– А твоё се-е-ердце... – ревела я.

– А что «се-е-ердце»? – передразнила мама. – Лекарства принимаю, последняя кардиограмма вообще отличная! И я доктор, если помнишь. Не морочь голову. Это просто великолепно, что у вас сразу есть дом. Только... не прописывай его пока.

– Что? – у меня слёзы разом высохли от удивления. – Как это – не прописывай? А как же? А почему?

– Доча! – мама обняла ладонями моё лицо. – Это единственное, о чём я тебя прошу, умоляю! Ну, хотя бы пока. Не прописывай. Подождите, не торопитесь. Если всё будет хорошо, то... всё и будет хорошо, – неловко закончила она свою мысль. – Пожалуйста!

– Ладно, – пожала я плечами.

Собственно, Тимур и не настаивал ни на чём таком. Даже разговоров не было. А маме за просьбу-рекомендацию поклон до земли – возможно, она отвела от меня серьёзные неприятности, как показало будущее.

И была свадьба.

От свадьбы нам с Тимуром отвертеться не удалось: его серьёзные до суровости, насквозь советские родители не могли допустить, чтобы такое событие не было отмечено «как следует, как у людей, как принято». Хотя лучше бы их озаботило слишком раннее создание сыном семьи – в неполные-то девятнадцать лет! Да и моя мама тоже странно себя повела (как я теперь думаю) – не отговаривала, не уговаривала подождать, не убеждала, что, мол, некуда торопиться. Всё же перестройка меняла сознание даже совсем взрослых и немолодых людей, склоняя к убеждению, что «лучше всё разрешать, чем запрещать, а то осудят и объявят ретроградями». Но до простой мысли, что можно пожить вместе, не регистрируя свои отношения в ЗАГСе, не устраивая свадьбы, не декларируя создания семьи, советскому гражданину ещё надо было долго идти по трудному пути. Как это – не поставить в известность государство? Мы себе такое позволить не можем, да и в санатории в один номер не поселят. Кроме того, жить мужчине и женщине вместе просто так – нехорошо: сожительство общественность не одобряет.

Зато для меня регистрация давала возможность сменить, наконец, фамилию. Безусловный плюс.

Свадьба пела и плясала в ресторане, помню я ту гульбу смутно. Лишь платье нежно-розовое с блёстками забыть не могу и громкий и раздражавший репертуаром ансамбль. Когда лабухи затянули «Не сыпь мне соль на рану» к вящему восторгу публики, мы с Тимуром беспомощно переглянулись, мой теперь уже супруг захихикал, а мне захотелось сбежать. Поинка обняла меня за плечи и загробным голосом произнесла:

– Крепись, сестра. Традиции – они такие. Скажи спасибо, что без хлеба-соли обошлось, – мы прыснули.

Зато мои Малюдки хохотали и вовсю веселились. Под «соль на рану» они выкаблучивались с деланно страдальческим видом, старательно «вытанцовывая» текст. Маринка, как всегда красиво, как бы корчилась от боли, а Людка лицом изображала плач и откровенно хромала на «раненую» ногу – не шибко элегантно, но дико смешно. Моя студенческая компания, всем составом пришедшая на свадьбу, не танцевала «под такое», ожидая «нормальной» музыки, но хохотала, глядя на моих школьных подруг, веселившихся по-детски непосредственно. Эх, не видели они, что бывало, когда мы собирались без свидетелей: волшебная палочка моментально превращала нас в школьниц, в девчонок, которые дурачатся, бесятся, кривляются и дерутся подушками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.